Проф. Н. Н. Фирсов.

ЧТЕНИЯ
ПО
Истории Сибири

ВЫПУСК ВТОРОЙ

ИЗДАНИЕ
Русского Библиографического Института
БР. А. и И. ГРАНАТ и Ко.
Москва—1921.

Вместо предисловия.

XVII век в истории Сибири, это—тот период, когда русские после упорной борьбы с инородческим населением этой страны, наконец, создали прочную завязь своего владычества в ней.

Общественные явления, наблюдавшиеся в Сибири в XVII стол., развивались затем в дальнейшем, и эволюция их в значительной мере составляет содержание сибирской истории в XVIII и XIX стол. Этим обясняется, почему сравнительно подробно мы остановились на XVII стол. в истории Сибири (см. 1-й выпуск „чтений").

Однако, при выяснении нами завязи русского владычества в Сибири нами был допущен существенный пробел, зависящий от состояния источников и разработки их: это—отсутствие цифровых данных о движении населения в Сибири, как инородческого, так и русского. Мы не ставили такого вопроса, ибо для XVII стол. его совершенно нельзя решить; для XVIII стол. он решается также неудовлетворительно. Достаточно указать, что касательно инородческого населения Сибири[1]) мы не имеем более ранней цифры, чем та, которую сообщает перепись сибирских инородцев 1763 года; тогда их было показано 132.000 чел. муж. пола; 5-ая ревизия, возвещенная манифестом от 23 июня 1794 г., показала сибирских инородцев 184.448 чел., а 7-ая, по манифесту 1815 г,—220.300 чел. муж. пола[2]).

На основании этих данных можно сделать только то заключение, что общее число сибирских инородцев увеличивалось путем естественного прироста и под русским владычеством, но как уве-

[1]) Если не считать голословной цифры для средины XVI века и заведомо неполной для начала XVII в., цифры, приведенной мною при рассказе о покорении Сибири.

[2]) Историческое Обозрение Сибири Словцова, 81.

личивалось,—этого с уверенностью сказать не можем, ибо нельзя ручаться даже за относительную правильность приведенных цифр. Что увеличивалось количество русского населения, это ясно и из предшествующего изложения и само собой: тут имел большое значение не только естественный прирост, но и усиливающаяся под давлением гонений на раскольников вольная эмиграция в Сибирь в конце XVII ст. и особенно в Петровскую эпоху, когда, со введением рекрутства, крестьяне, убегая от него, массами двинулись в Сибирь.

Вот данные, которыми мы располагаем по вопросу о движении русского населения в Сибири. По сведениям, относящимся к 1662 году, предполагают, что в Сибири русских всех состояний было 70.999 чел., по переписным книгам 186 г., т. е. 1678 г., во всей Сибири 199.296, а в Азиатской—119.580; по переписи 1710 г. во всей Сибирской губернии — 295.410, а в Азиатской Сибири — 177.240; по переписи 1719 г. в Сибирской губ.—369.003, а в Азиатской—221.400 чел.

На основании этих данных вычислены и приблизительные проценты прироста русского населения в Сибири за означенное время: до 1710 г. население возросло на 1,46%, а от этого года до 1719 г. прирост его увеличился до 2,77%[1]). По данным 6-й ревизии, русских мужского пола насчитывается до 289.861 души (в 1796—97 г.г. всего населения русского и инородческого насчитывалось 707.185 душ, из них русского обоего пола — 575.765. Гангенмейстер, Статистич. обозрение Сибири, т. II); но сюда не включено городское население; все же русское население, на основании данных той же ревизии, г. Щеглов определяет в 553.766 чел., из которых 443.544 чел. отчисляет на до-Енисейскую Сибирь, а остальные 110.222 чел. на Иркутскую губернию (с Забайкальем) [2]). Вообще, вопрос о движении населения в Сибири, инородческого и русского, и для XVIII стол. должен считаться открытым в настоящее время; ибо едвали статистик остался бы доволен приведенным цифровым материалом; а иного материала, более полных абсолютных цифр пока мы не имеем.

Итак, с уверенностью можно сказать одно: с самого начала XVIII стол. заселение русскими Сибири пошло еще более быстрым темпом, чем в XVII стол.

---

[1]) Андреевич, Историческ. очерк Сибири по данным Полного Собр. Законов, т. II, стр. 41.

[2]) Колониз. Сибири в связи с общим переселенч. вопросом, изд. Канцел. Комитета Министров. Комитет Сибирской жел. дор., С.-Петерб., 1900., стр. 43 и 44.

Инородцам Сибири пришлось еще более расступиться перед русскими, — одним отойти к югу, в степи, другим передвинуться дальше на север и восток. Вместе с тем в эпоху Петра Великого замечается возвышение и финансовых требований правительства с сибирских инородцев во многих случаях, на что, напр., указывают ясашные книги Томского уезда, изданные в Томске (1893 г.,) Кузнецовым - Красноярским (о количестве ясака и числе плательщиков).

В эти книги вошли 32 ясашных волости с обозначением ясака, определявшегося по-прежнему в „соболях", от 1706 до 1718 г., причем, если мы возьмем для сравнения крайние годы 1706 и 1718, то окажется, что для такой операции доступны только 27 волостей, ибо для одной волости мы не имеем сведений от 1718 г., а для четырех последних не имеем сведений от 1706 г. Далее видно, что из 27 волостей—с 16-ти в 1718 г. потребовался больший ясак, чем в 1706 г., хотя количества плательщиков в этих волостях не увеличились; в 5 волостях количество плательщиков и ясака осталось без перемены, в трех — количество ясака уменьшилось, хотя число плательщиков осталось без перемены, и в двух—количество ясака тоже уменьшилось, хотя число ясачников и увеличилось[1]). В 1718 г. правительство с 27 сравниваемых волостей получило на 78 соболей больше, чем в 1706 г.

Итак, во всяком случае, тенденция к возвышению ясака преобладала, и в этом ничего нет удивительного, ибо Петровская эпоха требовала, как известно, страшного напряжения народных сил и не могла обойти в этих требованиях и инородцев Сибири.

---

[1]) Приходные окладные книги Томского уезда 1706 и 1718 г.г., 112—113. Число жителей каждой волости, обыкновенно „князца" с товарищами было невелико, колебалось между 18 и 20 челов.

I.

Теперь, перейдя к XVIII стол., обратимся к систематическому обзору разных сторон сибирской жизни в этом веке и отчасти в XIX, начав с высшего управления Сибирью.

Высшее управление Сибирью, идущее из центра, с эпохи Петра Великого делается более сложным, чем раньше, но местный характер его остается прежним—самовластным и фактически бесконтрольным. „Сибирский приказ", которому была подчинена Сибирь в XVII стол., как самому высшему центральному учреждению, сам был подчинен Петром сенату, и потому утратил свое прежнее значение, можно сказать, утратил всякое влияние на дела Сибири, превратившись просто в контору по этим делам при сенате, а центральное управление Сибирью разделилось между целым рядом центральных учреждений, независимых друг от друга и потому, сделавшись очень сложным, в то же время стало весьма хаотичным. С 1708 г. сама Сибирь была превращена в губернию, в состав которой, кроме собственно Сибири, были включены части нынешних губерний Вологодской, Вятской, Пермской и Оренбургской. Эта гигантская губерния, разбитая на пять провинций, была подчинена одному губернатору со столь же гигантской властью. Он управлял Сибирью из Тобольска, но в 1736 году иркутский вице-губернатор сделался независимым администратором Восточной Сибири, причем обе части — Западная и Восточная — были одинаково подчинены „Сибирскому Приказу", а в 1864 г. Сибирь была разделена на два самостоятельных губернаторства—Тобольское и Иркутское. В 1782 и 1783 г.г. Екатерина целиком ввела в Сибири свое „Учреждение о губерниях", разделив Сибирь на три наместничества и два генерал-губернаторства—тоже Тобольское и Иркутское. В то же время Екатерина взглянула на всю Сибирь, как на особое подвластное ей „Сибирское царство", местное управление которым было сосредоточено в Сибирском наместничестве, а внешней эмблемой власти Екатерины над этим царством явился царский трон в Тобольске, с которого сибирский наместник, как представитель Российской державы, должен был прини-

мать выражение верноподданнических чувств „от хана средней Киргизской орды и остяцких князей".

Однако, все эти затеи мудрой Семирамиды Севера в 1799 г. окончательно были отменены ее сыном Павлом, царский сибирский трон из его „царства" был сослан в... Петербург, а царство снова было обращено в две губернии—Тобольскую и Иркутскую.

Таким образом, после целого ряда административных размежеваний и попыток устроить управление Сибирью по тому или другому канцелярскому плану пришли к тому же, что существовало раньше, даже в Московский период, и что, строго говоря, соответствовало географическому разделению Сибири на Западную и Восточную. Все переданные попытки урегулировать управление Сибирью были способны лишь увеличить его сложность и стоимость; в последнем счете эти попытки ложились на управляемых, для которых одна усилившаяся канцелярская переписка и волокита уже должны были служить нелегким бременем; но общего характера и качественной стороны управления эти попытки не улучшили. В самом деле, если мы обратимся к фактам деятельности сибирской администрации в XVIII стол. и позднее, то мы увидим, что все эти губернаторы, генерал-губернаторы и наместники, это — прямые наследники воевод XVII стол., неизбежно попадавших под правительственный розыск за свое сибирское воеводство. Впрочем, воевод мы встречаем в Сибири долго и в XVIII стол., но только они уже не занимают прежнего положения; теперь это сравнительно скромный „чин" сибирской администрации, вроде позднейшего исправника и городничего, и вербовался этот чин не из среды родословных людей, откуда нередко выходили сибирские воеводы XVII в., а откуда попало, „с борка, да с сосенки", — большею частью из сибирского купечества, казаков, выслужившихся солдат и холопов, иногда даже отбывших наказание преступников[1]).

---

[1]) Об этом свидетельствует, напр., указ 1739 г. (от 12 января): „Известно нам учинилось, что во многих городах Сибирской губернии определены воеводами из тамошних обывателей, а именно из купечества и казаков и прочих тому подобных., которые браны в рекруты и дослужились офицерских рангов, в том числе не умеющие грамоте, а иные и не служа, вернее написаны из казаков в дворяне и воеводы, також и бывшие у некоторых персон в холопстве, да и такие, которые бывали в розысках и наказаниях, и потом через их происки, воеводами определены, а понеже оные люди произыскивают". Но это более чем скромное происхождение не мешало сибирским воеводам XVIII века поступать очень нескромно и при их третьестепенном положении в Сибирской администрации, совершать первостепенные служебные проступки. Главная же ответственность по управлению Сибирью падала, разумеется, не на эту сравнительно мелкую сошку администрации, а на тузов ее, губернаторов и генерал-губернаторов, которые стояли на авансцене в сибирской жизни XVIII и XIX в.в. и привлекали на себя тоже самое внимание общества и верховной власти, какое в XVII стол. привлекали сибирские воеводы.

Отдаленность сибирской колонии от центра высшего управления и в то же время необходимость ведать в Сибири не только многочисленные разнообразные внутренние дела по исправному сбору ясака, по подавлению инородческих возмущений, по исследованию и колонизации Сибири, по развитию здесь промыслов и торговли и проч., но и внешние посольские дела по сношению с азиатскими народами заставляла петербургское правительство по прежнему предоставлять высшим администраторам Сибири обширные полномочия и власть, дабы проволочкой, при сношениях со столицей, не повредить самым подведомственным им делам, а через то и интересам казны сибирского населения; но та же самая отдаленность Сибири, делая затруднительным, а в иных случаях и невозможным, правительственный контроль над сибирскими администраторами, являлась, при громадной их власти, соблазнительным условием действовать не в интересах казны, тем менее — в интересах сибирского населения. До царя далеко! — это постоянно помнили в Сибири не только управляемые, но и управляющие; начальники здесь становились сами царями, будучи, как и прежние воеводы, снабжены от верховной власти доверием к их собственному „усмотрению“... „Княгиня, здесь я — царь“! — говорит иркутский губернатор княгине Трубецкой у Некрасова, и это было правдой даже во времена после Сперанского, тем большей правдой это было для предшествовавшего реформе Сперанского периода в истории местного сибирского управления. Известно, что первый Сибирский губернатор, кн. Гагарин, бывший в числе судей, подписавших смертный приговор царевичу Алексею, жил в Сибири с царской пышностью и приобрел в Сибири громадное состояние (пышность эта доходила до того, что лошади у него подковывались золотом и серебром). В конце концов грабительство его достигло таких пределов, что не могло остаться неизвестным такому бдительному контролеру, как Петр, и кн. Гагарин сам попал под суд и был казнен. Впрочем, смертный приговор этому администратору, подписанный Петром Великим в назидание всем взяточникам, не оказал своего действия даже на сибирских чиновников, и они продолжали там не судить и управлять, а обирать, притеснять и разорять население. „Крестьянам бедным“, — писал де-Геннин Петру из Екатеринбурга[1]), — „разорение от судей, и в городах от земских управителей, и в слободах дело тягостно и без охранения, а купечество же и весьма разорилось, так что едва посадского капиталиста сыскать можно. И хотя здесь

[1]) Ядринцев, Сибирь, как колония, стр. 472.

всем известен экземпль, учиненный князю Гагарину (т. е. казнь его за взятки), однако, здесь, в Сибири, не унимаются бездельники. От земских комиссаров лишение свободы чинят и обиды народу. Судебные комиссары делают великие пакости и неправды".

Ни гагаринский „экземпль", ни позднейший — Жолобова, „злохитростными вымыслами из великих себе взяток составившего состояние" и казненного в 1736 г., не имели надлежащего устрашающего значения для последующих сибирских администраторов. Громадная власть и безконтрольность влияли на них сильнее, действуя развращающим образом. Посылались, правда, сюда и ревизоры, но они, тоже снабженные большими полномочиями, спешили нажиться: так, известно, что иркутский ревизор Крылов стяжал, прибегая к разным давлениям, у просителей Иркутска до 150.000 руб.

Самовластие сибирских администраторов иногда выходило даже из границ повиновения высшей центральной власти. Так напр., видя безцеремонность в этом онношении кн. Гагарина, некоторые его подозревали даже в стремлении об'явить Сибирь независимой от Российской державы, но, конечно, это не могло быть настоящим его стремлением, ибо все значение Гагарина в Сибири держалось на этой „державе", на покровительстве сильных людей, которых он имел в составе петровского правительства, и если Гагарин нуждался в какой независимости, то в независимости воровать и грабить в Сибири, а такое стремление, как известно, плохой базис для политической независимости, и этого не мог не понимать такой хищник-пришлец в Сибири, каким был кн. Гагарин. Нет, просто он зарвался в злоупотреблениях своею обширною властью, как зарывались и другие администраторы, даже гораздо менее видные... Так, напр., один из администраторов меньшего калибра осмелился однажды не послушаться царского указа и присланного с ним „убил и изувечил". Сибирь он, конечно, не думал взять за себя, а просто, по привычке к самоуправству, не мог остановиться и действовал по чисто стихийному побуждению, формулированному словами: „моему нраву не препятствуй". Это побуждение было основной психологической чертой властного сибирского человека. Разгулявшись, он, как, напр., главный начальник Нерчинских заводов, начинал разбрасывать в толпу казенные деньги, и их ему, конечно, не было жалко; что касается этого господина, имевшего для себя охранную стражу из крестьян и каторжников, то он отличался и иными приемами самодурства: образовав красный гусарский полк, он вместе с ним

нападал на города и брал их. Руководствуясь теми же побуждениями, иркутский губернатор, позавидовав архиерею в том, что его встречают колокольным звоном, велел, при в'езде своем в город, палить из пушек. Это были всего сибирские вице-рои, и мы имеем сейчас дело с вице-ройским периодом сибирской истории. Если властью кичились губернаторы, то наместники, имевшие около себя трон, прямо разыгрывали коронованных особ... Так, в 1782 г. Кошкин, при открытии наместничества, устроил настоящий царский прием депутаций от сибирских инородцев, во время коего они кланялись ему, стоявшему на троне; он же угощал народ жареными быками, что лично ему, разумеется, ровно ничего не стоило. Также весело и пышно жил наместник Иван Варфоломеевич Якобий, представлявший в своей особе все черты сибарита-сатрапа[1]).

Грабительство администрации охранялось всем сибирским управлением, державшим население в послушании „кнутом, тюрьмой и пыткой". Обыватели, имущество и личность которых были совершенно во власти сибирских правителей (ибо „все чиноначалие деспотствовало", как говорит иркутский летописец), ничем другим не могли отвечать на насилия, поборы и разорения от этого „чиноначалия", как жалобами высшему петербургскому правительству. И они жаловались: единственно в жалобах, в доносах на сибирских правителей могло сказаться общественное мнение сибирского Общества XVIII века и более позднего времени. По этим жалобам обыкновенно следовали запросы к администраторам, а те отписывались, обвиняя жалобщиков в ябедничестве, и нередко так запутывали дело, что ничего нельзя было разобрать; а такое общее впечатление всего скорее вело к обелению сибирской администрации в центре и к утверждению там за сибиряками репутации беспокойных ябедников, о чем сибирские правители очень сильно хлопотали и что весьма настойчиво внушали Петербургу. И вот, Императрица Екатерина II, заслушав дело о злоупотреблениях наместника Якобия, начертала на этом деле: „Читано перед нами несколько тысяч листов под названием сибирского якобиев-

[1]) Анненкова в своих записках, говоря о матери своего мужа, дочери наместника Сибири Якобия, сообщает о „несказанной роскоши", которою там была окружена Анна Ивановна Якобий, так как, поясняет Анненкова „в то время начинали устанавливаться торговые сношения с Китаем". И продолжает: „Можно себе представить, какие богатые и редкие подарки несли торговые люди такому сильному человеку, как наместнику сибирскому, и каким поклонением окружали балованную дочку. Якобий вывез из Сибири и редкие китайские материи, и дорогие меха, и, наконец, значительную сумму денег". (Записки жены декабриста П. Е. Анненковой— Pauline Gueble. Кн.-во „Прометей", стр. 42 и 43).

ского дела, из коего мы иного ничего не усмотрели, кроме ябеды, сплетен и кляузы". По поводу этой резолюции Иркутский летописец высказывает следующие свои замечания о влиянии ее на сибирскую жизнь: „Слова эти были клеймом на сибиряков, за которое впоследствии они дорого поплатились. Горе отдаленной провинции, ежели правительство поставит между ей и собою оплот предубеждения".

Император Павел, однако, начал внимательно относиться к жалобам, и даже в Иркутскую губернию послал ревизора, сенатора Селифонтова, который изобразил эту губернию „в таком бедственном положении, что на нее без слез взирать невозможно"; при всем том, панацеей против злоупотреблений Селифонтов считал не что иное, как отдачу всей Сибири под начало одному генерал-губернатору, которым должно быть назначено облеченное „особенною высочайшею доверенностью" лицо. В сущности, ревизор предлагал себя в качестве такого лица, и он, действительно, был назначен сибирским генерал-губернатором, как облеченный уже особым высочайшим доверием; но, в качестве диктатора Сибири, Селифонтов сейчас же стал злоупотреблять полученной им „доверенностью", передав ее, без дозволения на то, своей любовнице, мадам Бойе, и своему секретарю. „Сейчас, — сообщает иркутский летописец, — догадались, через кого надобно обделывать дела, и обделывали". Назначенный после Селифонтова, Пестель стремился еще более усилить свою власть путем уничтожения всякой возможности жаловаться на сибирскую администрацию и, испросив в Петербурге в этом смысле разрешение, Пестель, сразу выразив сибирсколу обществу полное недоверие, „деспотствовал" над ним в течение четырнадцати лет вместе со своим помощником Трескиным. Этот последний был назначен иркутским губернатором, будучи облечен Пестелем такою же „особенною доверенностью", какую получил сам от верховной власти. Трескин, по сообщению современника и очевидца, „губернию считал вотчиною, а себя полновластным в ней приказчиком и управляющим".

При помощи этого „управляющего" и владычествовал над Сибирью Пестель, вернувшись на жительство в Петербург, как бы в свою резиденцию, откуда генерал-губернатор давал то или иное направление сибирским делам. Взяточничество при таком управлении Сибирью достигло грандиозных размеров, пример чему подавал сам Трескин, в особенности его жена, которая поборам с населения сообщила известную организацию: „довольно странно было видеть", сообщает иркутский летописец,—„в передней сидя-

щего лакея, фаворита барыни самой, записывающего, кто что принес, и толпу купцов с кульками, со свертками, цибиками, с пакетами и тому подобным". Принесенные товары продавались в особых лавочках, принадлежащих этой „домовитой особе"; старожилы, долго спустя, рассказывали, как она ухитрялась один и тот же мех продавать до пятидесяти раз, получая от покупателя деньги, но оставляя у себя мех. Чиновничьи места продавались губернаторшей за взятки; она вообще была доступна для всех, кто шел к ней, чтобы что либо дать: „к ней",— рассказывает тот же летописец,—„отправлялся всякий, кто хотел давать. Исправники, комиссары без доклада могли входить в уборную, даже в спальню. Она называла чиновников своими детьми". Было бы долго перечислять злоупотребления сибирской администрации за время управления Пестеля и Трескина.

Достаточно указать, напр., на следующую жалобу, представленную одним из энергичных противников самовластия и злоупотреблений Пестеля и Трескина, именно выбранного в иркутские головы—Сибиряковым: „Господин генерал-губернатор Пестель и губернатор Трескин приказали собирать в полицию в городе купеческих и мещанских, а по деревням крестьянских дочерей, под тем предлогом, чтобы отдавать их в замужество за поселенцев, и это одним только отцам, матерям и родственникам известно, чего стоила свобода, сопряженная с бесславием детей их". Во главе сибирской оппозиции хищным, не знавшим служебного долга администраторам стояли немногие, но сплоченно действовавшие капиталисты Сибири, которые могли бы удовлетворить самые алчные чиновничьи аппетиты; но не смотря на упорство этих капиталистов, этой „сибирской капиталистической олигархии", по выражению исследователя,[1]) борьба ее с „приезжей бюрократией" протянулась через весь XVIII в. и перешла в XIX век. Из жалоб не только общественных низов, но даже крупных сибирских купцов, вроде упомянутого Сибирякова, ровно ничего не выходило в течение очень продолжительного времени; ибо Пестель сумел внушить в Петербурге, что вся беда заключается в неблагонадежности управляемых, в их разврате и самовольстве. Предоставив своему „управляющему" губернией Трескину обширную власть над Сибирью с тем, чтобы он подавлял жалобы и оппозицию на местах, Пестель все личные свои усилия направил к тому, чтобы перехватывать эти жалобы, которые, несмотря ни на что, доходили до Петербурга, и обра-

[1]) Н. Н. Козьмин, Очерки прошлого и настоящего Сибири, С.-Петербург, 1910 г.

тить их тем или другим способом на головы самих жалобщиков. И такая „система“ управления очень долго достигала своей цели: все оппозиционные элементы сибирского общества, не исключая и некоторых губернаторов, были дискредитированы в глазах высшего правительства, а наиболее ненавистные Пестелю и Трескину люди так или иначе были наказаны и лишены даже того небольшого значения, какое имели; мало этого: благодаря указанной „системе“, все сибирское общество оказалось у высшего правительства в подозрении.

Таким образом, по отношению к Сибири исчезла и та тень правосудия, которую сибиряки из своего непрекрасного далека усматривали в Петербурге. „Ужасными мерами“, говорит современник, „уничтожения непокорных, при неограниченном доверии высшего правительства к представлениям Пестеля или, что все равно, Трескина, в Иркутске, наконец, все части попали если не в формальную, то по крайней мере в политическую зависимость, от губернатора, не исключая ни высшей, ни даже духовной“.

В распоряжении губернатора и вообще высшей администрации Сибири находилась толпа чиновников, столь же алчных, как и их начальство, действовавших по его образу и подобию. И чем дальше на восток, в глубь Сибири, тем алчность этого чиновничества становилась больше, беззастенчивее. Любопытно, что сам высший, неограниченный начальник всей Сибири, Пестель, признавал всю ненасытность чиновничьей алчности; об этом свидетельствует представленная им императору Александру I „Историческая записка о Камчатке, о всех переменах в управлении ее и о настоящем ее состоянии“, уже цитированная в первом выпуске наших „чтений“.

„Записка“, как и подобает ей, обрушивается на тех сибирских чиновников, которые орудовали в Камчатке, т. е. на дальнем северо-востоке Сибири. По алчности „Записка“ сравнивает „судей и приказных чиновников или под'ячих“ с „казаками, завоевавшими Камчатку“: казаки, „истребив большую часть жителей огнем и мечем“, говорится здесь, „оставили в память и в наследство последней части свои болезни и пороки“, а чиновники „распространили болезни, утончили и усовершенствовали пороки своею собственною развращенностью и довершили бедствия камчадал“. Этого мало: чиновники оказались для туземцев еще вреднее казаков. „Со времени учреждения в Камчатке судебных мест и нашествия сего ради новых людей, продолжает „Записка“, „дух вражды и ябеды распространился по всему полуострову несравненно ско-

рее, нежели страх от меча первых завоевателей". И дальше „Записка" довольно пространно поясняет и развивает это положение: „чиновники", читаем мы в ней, „поощряли камчадал к жалобам и доносам, заводили следствия и таким образом, водя бессмысленных жителей сих по своему желанию, разоряли их до основания. Но когда и сей способ промышленности чиновников стал слабо удовлетворять алчность их, потому что камчадалы год от году делались беднее и число их беспрерывно уменьшалось от притеснений и болезней, то чиновники должны были искать дела в самих себе или в своей развращенности. Они друг на друга делали доносы, производили бесконечные следствия и в конце концов, будучи отрешаемы от должности и предаваемы суду, оказались без всякого дела, умножали беспорядки, сообщали пороки свои камчадалам и разливали разврат" [1]).

Мы нарочно привели эту длинную выдержку из рукописной „Исторической Записки", ибо здесь нарисована точная картина чиновничьего управления не одной Камчаткой, а всею Сибирью. „Промышленность" чиновников повсюду в Сибири была одного и того же типа: они везде являлись причиной возбуждения разных жалоб, которые ими же самими аттестовались потом ябедами, основанными только на злонравии жалобщиков; словом, чиновники повсюду „притесняли" и развращали подчиненное им общество, и в первую голову среди этих чиновников надо поставить главнейших из них, пользовавшихся наибольшими властью и влиянием — Трескина и Пестеля, открывшего перед Государем столь отчетливую и выразительную картину чиновничьего поведения и вредоносного влияния его на управляемых.

Обвиняя сибирское общество в ябедничестве и клеветничестве, Трескин и Пестель сами усиленно ябедничали и клеветали на него в своих представлениях в Петербурге.

Но всему, однако, бывает конец. Как ни долго названные администраторы успокаивали верховную власть, злоупотребления их, дошедшие до геркулесовых столбов, должны были обнаружиться, ибо от такого управления, по словам современника, „стоном стонала Сибирь", и этот стон, раздававшийся немолчно в течение четырнадцати лет, наконец, услышало глуховатое петер-

[1]) Архив Государственного Совета, Департамент Государственной Экономии, № 29—1810 г. Декабрист Штейнгель провел в Камчатке детство (он родился в 1783 г.), ибо его отец был там капитан — исправником. Как свидетельствует биография декабриста Штейнгеля, ему рано пришлось узнать о деспотизме, самодурстве и всяческих хищениях камчатских начальников—Коха, Козлова, Угрелина (Головачев, Декабристы, 266).

бургское правительство. Тогда оно, по усвоенному с давних пор обычаю, снова назначило ревизию сибирского управления. Но могла ли ревизия радикально изменить бесправное положение Сибири при полном отсутствии тогда во всей России гласности, общественного контроля, при господстве Аракчеева и при совершенной приниженности даже выдающейся, честной и благожелательно настроенной личности в высших бюрократических сферах?

Ответ ясен сам собой.

II.

Как бы ни обличал Пестель сибирское общество в склонности к неосновательным жалобам, но справедливость требует сказать, что у сибиряков было одно средство довести до сведения высшего правительства о своем безвыходном положении от „системы“ сибирского управления, это — донос. И действительно, доносы на вопиющие злоупотребления сибирской администрации шли в Петербург от лиц самого разнообразного общественного положения, начиная с иркутского архиерея и богатых купцов и кончая бедными крестьянами, причем пускались в ход всякие способы, чтобы доставить донос по назначению, включая сюда и перевозку его в хлебе. Имеется известие, что в 1818 году один иркутский мещанин, совершенно разоренный сибирским начальством (среди коего после Трескина свирепствовал исправник Лоскутов и др.), окольным путем через Китай, леса и степи, добрался до Петербурга и подал свою жалобу в руки самого государя, будто бы заявив ему: пусть он прикажет его убить, „чтобы избавить от тиранства Пестеля“. Стали до высшего правительства доходить и более тревожные слухи о голоде инородческого населения в Сибири, сопровождающемся даже людоедством, о голоде, как последствии самовольно установленной Трескиным хлебной монополии с насильственной закупкой хлеба... Все это, вместе взятое, в связи с продолжавшимся пребыванием главного начальника Сибири в Петербурге (что, наконец, было забраковано не только разговорами в обществе, но и комитетом министров), и вызвало со стороны последнего постановление о необходимости назначить в Сибирь ревизию и отставить Пестеля.

В это же время министр внутренних дел Козодавлев представил записку о реорганизации сибирского управления на новых началах.

Произвести ревизию было поручено знаменитому реформатору первой половины царствования Александра I-го – Сперанскому, который должен был ехать в Сибирь с занимамого им в то время поста пензенского губернатора. Друзья Сперанского возлагали на его деятельность в Сибири огромные надежды, но сам Сперанский смотрел на свое новое назначение, как на новый и, думал он, последний этап в начавшемся движении его опять в Петербург: путь туда, снова к правительственному назначению, лежал и для Сперанского через Сибирь, хотя бы в ранге ее ревизора и генерал-губернатора.

Явившись в Сибирь, Сперанский обратился к самому сибирскому обществу, стараясь заслужить его доверие к себе. Такой необычный для тогдашних ревизоров прием дал возможность Сперанскому обнаружить массу злоупотреблений, и новому ревизору пришлось убедиться, что картина, нарисованная в многочисленных жалобах, совершенно верна действительности. Сперанский отрешил от должности Трескина, Лоскутова и многих других чиновников, двух губернаторов и сорок восемь чиновников отдал под суд, но он все-таки не указал главного виновника, Пестеля, бывшего в связях с могущественным временщиком Аракчеевым, а в своем плане реформы сибирского управления явился типическим бюрократом, совершенно не принявшим в должное внимание выборного начала, на которое указывала записка Козодавлева.

Злоупотребления администрации, раскрытые Сперанским при помощи общества, были громадны, и чем дальше он проникал в Сибирь, тем они становились все больше, как бы конкурируя с громадностью проезжаемых ревизором пространств, и, конечно, все более и более его поражали. Положение людей и дел в Томске оказывалось много хуже, чем в Тобольске: „Если бы в Тобольске“, писал Сперанский, „я отдал всех под суд, что и можно бы было сделать, то здесь оставалось бы уже всех повесить“. Однако, Сперанский был очень умеренный ревизор. Взятку он запретил даже поминать в числе преступлений, ибо в таком случае пришлось бы всех отдать под суд; жалобы на взяточничество он приказал включить в число чисто гражданскик исков, и таковых исков было заявлено на сумму около тринадцати миллионов рублей. Лишь по отношению к исправнику Лоскутову вообще сдержанный и мягкий Сперанский вышел из себя и, назвав его бездельником, сейчас же, при первой аудиенции, приказал его арестовать, а имущество описать, при чем у Лоскутова было найдено 138.243 руб. деньгами и, кроме того, всякие ценные вещи—серебро,

меха. Вообще же этот „розыск“ тяготил Сперанского. „Мое ли дело“,—писал он Столыпину,— „розыскивать, преследовать, обличать, ловить преступления?“

„По совести“, исповедывалса он тому же корреспонденту, „я никого не обвинял, кроме тех, кои попускали злоупотребления, но по закону все без разбору виноваты, и список их по всем трем губерниям составляет уже около 150 человек“.

Сперанский понимал, что дело не во второстепенных и третьестепенных исполнителях, не в „стрелочниках“, сказали бы теперь, а в главном виновнике, это — прежде всего, а потом — и здесь сущность зла—во всем строе сибирского управления, основанного на полном доверии к главному начальнику Сибири с почти неограниченной властью, неизбежно передаваемой облеченным его собственным особым доверием чиновникам. По первому пункту имеем следующее признание Сперанского в письме к министру финансов Гурьеву: „Если бы успех порученного мне дела должно было измерять количеством обнаруженных преступлений, не без горечи говорит ревизор, то было мне чем утешиться. Но какое же утешение! Преследовать толпу мелких исполнителей, увлеченных примером и попущением главного их начальника Дела сего начальства приведены теперь в такую ясность, что мудрено было бы их затмить“. По второму пункту известно, что, прочитав в записке Козодавлева о необходимости ввести в высшее сибирское управление „выборного элемента“ из лучших людей страны, выдающихся по своему уму, характеру и положению, Сперанский написал автору Записки: „В теории я совершенно встретился с Вашими мыслями, на практике не знаю, но употреблю все усилия согласить их“.

Но что же сделал Сперанский по тому и другому пункту, какова его „практика?“

В докладе государю о произведенной им ревизии в Сибири Сперанский так старательно обошел вопрос о „главном виновнике“, что император Александр I вернул ему доклад, приказав написать заключение о деятельности Пестеля (сообщать о которой определенное мнение не входило в личные „практические“ расчеты Сперанского).

Что касается второго пункта—о выборном начале, то в свой проект реформы сибирского управления Сперанский этого начала не включил, хотя в кратком отчете о ревизии государю и заявил, что „никакое начальство не может ручаться в продолжительности действия“ мер, употребленных ревизией, если „не поставлен бу-

дет порядок управления, местному положению сего края свойственный".

Не найдя возможным ввести выборный земский элемент в высшее сибирское управление, Сперанский всю свою реформу построил на введении в известные формы и границы единоначальной генерал-губернаторской и губернаторской власти, на сообщении ей лишь исполнительных функций путем уже испытанного добавления к ней коллегий из чиновников местного управления. Деля Сибирь на Восточную и Западную и учреждая по генерал-губернатору в той и другой, Сперанский желал централизировать управление каждой частью, подобно тому, как министерства централизировали управление каждою отраслью дел; но, разбивая управление Сибирью на два независимых друг от друга высших ведомства — генерал-губернаторство Западной Сибири и генерал-губернаторство Восточной Сибири, — Сперанский желал видеть в генерал-губернаторах только председателей этих двух управлений Сибирью, председателей, решающих дела вместе с Советом этих управлений, все равно, как в губернаторах—председателей подобных генерал-губернаторским губернских советов из чиновников губернского управления. Что однако могло получиться на практике из такой организации сибирского управления, как не то, что эти чиновничьи Советы превратились в послушные председателям губернские правления? Во-первых, уже отчасти на юридическом основании, ибо постановления Советов были недействительны без утверждения председателя, и члены Совета не имели права останавливать исполнение „мнения" председателя, хотя бы и не были с ним согласны — они могли только представить свое мнение высшему начальству; во вторых, — и это главное, — члены этих Советов были чиновники, зависимые от своих председателей и, естественно, дорожащие своими местами. И, в конце концов, оказалось, что исполнительная власть председателей — генерал-губернаторов и губернаторов—все, а Советы—ничто по существу, их же деятельность вела только к увеличению переписки, к излишней волоките и задержке дел. Таким образом, чисто бюрократическая реформа Сперанского явилась плохой панацеей против злоупотреблений властей, плохим средством изменить управление Сибирью по существу при помощи введенного коллегиального начала в его, так сказать, параличном состоянии в чиновничьих Советах; все равно, как сам Сперанский, бравший лишь подносимый хлеб, но возвращавший серебряное блюдо, на котором его подносило население, был во время его генерал-губерна-

торства плохой преградой для взяточничества: оно продолжалось и при нем, хотя и „потише“, чем раньше и чем позднее, когда впечатление ревизии изгладилось... Потребность в новой ревизии возникла очень скоро, и в 1827 году она была назначена для Западной Сибири; в 1846 и 1848 гг. таковая же была произведена в Восточной Сибири, с тем, чтобы повториться в 1851 году.

„Все эти ревизии“, говорит большой знаток Сибири, Ядринцев, „и особенно последняя, открывали полный беспорядок в Сибири и множество злоупотреблений“. Очевидно, „очищение Авгиевых конюшен“, как назвал Нессельроде миссию Сперанского в Сибири (в письме к нему), оказывалось недостаточным для дела радикального оздоровления сибирской административной атмосферы: „конюшни“ не превращались в благоухающий сад прекрасных насаждений, а оставались „конюшнями“, и потому снова быстро загрязнялись: этому делу, понятно, не содействовали и те перестройки, которые делались в „Авгиевых конюшнях“ в виде той или другой реформы сибирского управления: целые коллегии „конюхов“, приставленных к „конюшням“, не могли по существу ничего изменить в них, равно как и распределение их по отдельным ведомствам, очевидно остававшимся по-прежнему „конюшенными“, — административное разделение Сибири на части,— то на две, то на три (генерал-губернаторства Степное, Иркутское и Амурское—1882 г.). Было ясно, что для уничтожения административной грязи в Сибири оставалось одно—сломать „конюшни“ и на месте их построить иные здания, вполне достойные того „золотого дна“, на котором были построены постоянно загрязнявшиеся старые...

Итак, мы видим, что на протяжении всего изучаемого нами периода общий характер сибирского управления по своему существу оставался одинаковым: изменялись лишь его внешние формы, да и то немного, а внутренняя его сущность оставалась нетронутой, будучи унаследованной от московского периода в истории Сибири.

Теперь мы должны отметить, какие надежды высшее правительство XVIII стол. возлагало на Сибирь, как на страну с неисчислимыми природными богатствами.

III.

Репутация „золотого дна“ установилась за Сибирью с начала XVIII столетия. Петр Великий первый взглянул на Сибирь, как

именно на „золотое дно", и с его времени на Сибирь возлагается особенная надежда, как на многообещающую арену для развития горного дела.

Если в XVII стол. и правительство и общество увлекались в Сибири звероловными промыслами, то теперь на первый план выдвигается металлургическая добыча, которую начинают всюду разыскивать в Сибири. Стремление отыскать золотые россыпи вовлекло даже осторожного Петра в рискованное предприятие. Ему сибирский губернатор Гагарин сообщил, что в Тобольск привозят песочное золото из Эркета (Яркена), и дал понять, что хорошо бы овладеть и этим городом и золотым промыслом. Сообщение вызвало в Петре нечто в роде золотой лихорадки, и он на представлении о золоте 22 мая 1714 г. положил резолюцию об экспедиции в указанный Яркен и с указанной же целью—„для овладения Яркеном"; „взять",— между прочим писал Петр,—„людей тысячи две, употребить из пленных шведов, артиллерию и минералогию знающих". Но эта экспедиция под начальством Бухгольца не имела успеха: не только не приобрели чужого золота, но потеряли, кроме людей, и свое—деньги, истраченные на экспедицию. Приходилось довольствоваться своими рудниками. Нерчинский край заставлял предполагать большие богатства в своих недрах, и там уже в самом начале XVIII века, в 1702 году, был основан Нерчинский или главный серебряно-плавильный завод [1]) и потом, по мере открытия новых рудников, возникали новые и новые заводы. Горнозаводское дело, однако, развивалось медленно, о чем можно судить по тому, что открытие новых рудников относится, главным образом, к 40-ым, 50-ым и 60-ым годам XVIII стол.

Много также усилий употребил Петр Великий для постановки на надлежащую ногу и для развития горнозаводского дела на Урале, для чего было учреждено особое горное управление в Екатеринбурге, сделавшемся надолго административным центром горнозаводского Уральского района; но после Петра Великого и таких его помощников в горном деле, какими были де-Геннин и Татищев, уральские заводы не приносили казне той пользы, которую могли бы приносить, и всего более служили к обогащению разных, наиболее влиятельных в правительстве лиц.

Искали руду в Сибири и частные лица. В 1723 году торгово-промышленные партии Акинфия Демидова открыли в Алтайских горах старинные инородческие копи и рудники — около Колыван-

[1]) Колонизация Сибири. Изд. Канцелярии Комитета Министров, 1900 г., стр. 34.

ского озера, и здесь в 1726 году был построен этим богатым промышленником завод; вскоре недалеко от него были открыты и другие рудники, вследствие чего были основаны новые заводы. В 1744 г. на Алтае же были найдены богатейшие серебряные рудники, что тоже повело к основанию новых заводов „для плавки серебра". Это Барнаульский район горного дела в Сибири.

Так как в 1744 году Демидов принужден был признаться в открытии серебряной руды, то все „Барнаульское производство" должно было перейти в казну. И действительно, в 1747 году так-называемые Воскресенские Колыванские заводы Демидова—создание частной энергии и инициативы—поступили от него в казну.

Словом, уже в XVIII стол., начиная с эпохи Петра Великого, правительство, а за ним и наиболее предприимчивые люди из общества, были живо заинтересованы развитием горного дела в Сибири. Яркой нитью в отношении тех и других к Сибири проходит стремление к отысканию в ее горах „подземных, втуне лежащих" богатств. Это стремление было одним из главных побуждений планомерных научных путешествий и исследований Сибири, сменивших прежнее стихийное искание бродниками, землепроходцами „новых землиц"... Эти научные путешествия и исследования Сибири тоже начинаются с эпохи Петра Великого. Такова посланная в 1720 г. Петром Великим экспедиция Мессершмидта, имевшая целью изучение Сибири, главным образом, в минералогическом отношении. Но поиски „подземных" богатств были далеко не единственным побуждением к научному исследованию Сибири: искали и „надземных" богатств. Организаторы этих экспедиций имели в виду широкие задачи, т. е. отыскание и установление новых торговых путей, новых промыслов, новых даней и, наконец, новых научных фактов и истин; значит, ставились отчасти старые, отчасти совершенно новые цели. Так, преследуя все эти цели, Петр Великий, не зная о случайном открытии Дежневым пролива между Азией и Америкой, снарядил экспедицию Беринга, которая ближайшим образом должна была рѣшить вопрос, соединяется ли на крайнем северо-востоке, или нет, Азия с Америкой? Решив этот вопрос и вернувшись из своего путешествия уже в царствование Анны Ивановны, Беринг высказал предположение, что Америка или другие земли, лежащие между нею и Азией, недалеко и что если это „подлинно так, то можно с ними установить торговлю". В ответ на это донесение Беринг получил новое поручение: „идти на морских судах для проведывания новых земель, лежащих между Америкой и Камчаткою, также островов, идущих

от Камчатского носа из Японии, для установления торгов и наложения ясака на народы, никому не подвластные; только того накрепко остерегаться, чтобы не зайти в такие американские и азиатские места, которые уже находятся под владением европейских государей или китайского богдыхана и японского хана, чтобы не возбудить подозрения и не открыть своим приездом пути к Камчатским берегам, у которых при нынешнем тамошнем малолюдстве они могут занять нужные пристани". Попутно к исполнению этого поручения Беринг должен был позаботиться о колонизации дальне-восточной окраины Сибири: завести хлебопашество в Охотске, построить пристань с небольшою судовою верфью, увеличить в городке население и т. п. Установление плавания в Америку Северным океаном очень интересовало русские правительства первой половины XVIII стол., ради чего явился целый ряд попыток обследовать прибрежье этого океана; при этом одна из них кончилась гибелью главных участников экспедиции — лейтенанта Прочинщева и его жены. Вместе с тем и в то же время были снаряжены Обская экспедиция (1733—1738 гг.) [1]) и большая ученая „Камчатская экспедиция" по императорскому указу „для учинения разных изобретений по берегам Ледовитого моря, паче по Восточному около Камчатки, Америки и Японии океаны; эта экспедиция сухим путем должна была проехать всю Сибирь и исследовать ее, а „особливо Камчатку" во всех отношениях, как в естественно-историческом и геодезическом, так и историческом; в этой экспедиции, продолжавшейся целых десять лет—от 1733 до 1743—года участвовали, хотя и не все в течение всего указанного срока, натуралист Гмелин, историк Миллер, астроном Делиль, профессор Фишер, ад'юнкт Стеллер, несколько студентов и геодезистов. Эта великая северная экспедиция стоила казне дорого— 360.000 руб.; но она и сделала много. Прежде всего следует отметить ее заслугу в области картографии; был занесен на карту „весь Северный берег Азии", был прослежен „ее Восточный изгиб" [2]).

Руководителями экспедиции были назначены Гмелин, давший потом сочинение по сибирской флоре, и Миллер, собравший богатый археологический и исторический материал, а потом написавший и самую историю Сибири. Экспедиция доехала до Якутска и отсюда вернулась в Россию, но Делиль, Стеллер и студент Крашенинников посетили и Камчатку, плодом чего явилось описание этого

[1]) Истомин, Из Архангельского портового архива.

[2]) Вернадский, „Против солнца", 20.

полуострова, сделанное Крашенинниковым в сотрудничестве с Стеллером. Стеллер и Делиль приняли участие в американской экспедиции Беринга и Чирикова; Беринг и Делиль во время этой экспедиции погибли, но последствием ее было утверждение русских на северо-западном берегу Америки. Географические успехи и земельные приобретения России на дальнем северо-востоке не могли не радовать ее правящих сфер, и это радостное настроение сейчас же нашло стихотворный отклик в умном представителе императрицы Елизаветы—Ломоносове (1742 г.):

„К тебе от восточных стран"
(восторгался российский Пиндар)
„Спешат уже Американски волны,
В Камчатский порт, веселья полны" [1]).

В первой половине XVIII столетия географические открытия под русским флагом совершались и в направлении Курильских островов и Японии, а во второй половине XVIII столетия, вместе с продолжавшимися открытиями на Ледовитом океане, где, между прочим, в 1770 году русскими была открыта группа „Ново-Сибирских" островов, продолжались плаванья и в направлении к Американскому материку: так, в 1768—69 гг. экспедиция капитана Криницына и лейтенанта Левашева побывала на Алеутских островах и на Аляске, где потом, а равно и на Командорских островах, возникли звероловные и рыболовные поселения, принадлежавшие России.

Наконец, в царствование Екатерины II образованная Академией Наук экспедиция в малоизвестные местности империи была в высшей степени плодотворна по отношению к исследованию Сибири, которую в 1770—1774 годах посетили Паллас и Лепехин, исследования которых в этой громадной области имеют первоклассное научное значение.

В XIX столетии географическое и естественно-историческое изучение Сибири продолжалось с большой энергией, как по инициативе правительства и позднее Русского Географического Общества, так и по почину частных лиц и ученых, в том числе и местных сибирских покровителей научного изучения Сибири, вроде Сибиряковых, Сидорова и Сукачева и сибирских ученых исследователей, как-то: Геблера, Турчанинова, позднее Чекановского, Дыбовского, Потанина, Ядринцева, Кропоткина, Черского, Дитмара, Коржинского.

---

[1]) Ibid., 20 и 21.

Вообще следует сказать, что путешествия и экспедиции для изучения Сибири, морей и океанов, омывающих ее, и земель, близ нее лежащих, — в высшей степени опасные и требовавшие много воодушевления, настойчивого труда, уносившие здоровье, а иногда и жизнь исследователей, представляют лучшую страницу сибирской истории. Если правительство, организуя такого рода предприятия, руководствовалось преимущественно реальными, меркантильными побуждениями, то сами исследователи, по крайней мере, наиболее выдающиеся ученые, кроме исполнения служебного и общественного долга, проявляли при этом и свое чистое стремление к обогащению науки, к расширению человеческих знаний о природе и людях, к истине. К истине обыкновенно вели и ведут очень тернистые пути, и в их числе—такой, каким был и остается путь изучения Сибири, давно завоеванной, но до сих пор еще далеко не исчерпанной научным исследованием, как для материальных, так и для высших целей русского государства и народа а следовательно, и для человечества...

IV.

В XVIII столетии на Сибирь вообще возлагались большие надежды. В числе этих надежд одно из первых мест занимали надежды на торговые отношения Сибири с соседними с ней государствами и народами.

В первом выпуске этого труда отмечено, что уже в XVII столетии завязались торговые связи со Средне-Азиатскими ханствами и с Китаем и что с последним, по Нерчинскому договору 1689 года, был установлен более или менее правильный караванный торг. Торговля с Китаем считалась очень важной, прямо таки необходимой для сбыта пушных ботатств Сибири. В руках казны пушного товара, поступавшего в виде „ясака", скапливалось так много, что приходилось дорожить китайским рынком, как наиболее близким к местам получения этого товара, а сверх того, и потому, что спрос в Турцию, Персию и в Западную Европу, также и внутри государства, не поглощал всего количества мехов, поступавших к „великому государю", и он поневоле с надеждой взирал на Китай. Эта именно надежда—выгодно сбывать в „Небесную империю" сибирские меха — и обусловила очень большую уступчивость московского правительства при заключении Нерчинского договора и впоследствии большую сдержанность к китай-

цам по вопросу о границах с Китаем, которые в течение полутора веков фактически оставались неясными, неопределенными...

В эпоху Петра Великого соседские отношения через сибирскую колонию с Китаем являлись одним из основных вопросов восточной политики русского правительства. Этими отношениями очень интересовались, как сам Петр, так и его наиболее дельные сотрудники, в интересах русско-китайской торговли. Не даром в числе книг, привезенных кн. Куракиным из-за границы, имелась „карта границ Китая с Сибирью" [1]).

Но если русское правительсево энергично стремилось организовать торговлю сибирским товаром с Китаем, то, наоборот, китайцы относились к этой торговле отрицательно. Это вполне выяснилось во время посольства в Китай Измайлова в 1719 году. Измайлов отнесся к своей миссии весьма внимательно, тем более, что ближние люди богдыхана, иезуиты, убедительно советовали Измайлову быть учтивым с богдыханом и не так вести себя, как когда-то Спафарий, который на вопрос повелителя Китая об одной звезде ответил: „Я на небе не бывал и имен звездам не знаю". Повелитель „Небесной империи", естественно, тяготел к астрономии; поэтому неудивительно, что Измайлов услышал от него вопрос, учился ли он астрономии, вопрос, на который посланец Петра Великого почтительно ответил, что не учился; но зато успокоил богдыхана на счет наук в России, чем богдыхан тоже интересовался: Измайлов сообщил, что в России есть и науки всякие, и ученые. Это могло быть только приятно ученому богдыхану, научившемуся математике и астрономии у иезуитов. Затем Измайлов выслушал от него из'явление любви и уважения к „великому государю", пообедал у богдыхана и по китайскому и по своему обычаю, а толку касательно свободной и беспошлинной торговли русских в Китае не добился. Китайские уполномоченные упорно заявляли, что они купеческими делами не интересуются, что торговлей у них занимаются самые убогие люди и что русских товаров в Китае много, „хотя бы", — говорили они, — ваши люди и не возили, и в провожании ваших купцов нам убыток".

Была у Петра Великого мысль установить торговлю с Китаем при помощи особой компании, и на это как-будто бы можно было надеяться, ибо еще в XVII столетии жители северного городка Вологодского края Тотьмы устраивали „добровольные складства", т. е. составляли особые товарищества для торговли в Сибири

---

[1]) Русск. Арх., 1904 г., № 6, стр. 192. „Русь Петра Великого за границей" С. И. Кедрова.

(для торговли, производившейся ими весьма успешно), но тем не менее из приглашения, обращенного не только к купцам, но и к знатным людям,—завести компанейский вольный торг с Китаем — ничего не вышло: очевидно, для международной торговли чрез Сибирь надо было иметь больше предприимчивости, чем просто для торговли в Сибири. Сверх того, к правительственному предложению могло быть и недоверие, на которое впоследствии указал даже сибирский вице-губернатор Ланг, подавший при Анне Ивановне правительству рассмотрение о том, каким образом „компанейский торг завесть" с „пограничными около Сибири государствами и народами". Этот администратор высказался с необычайной откровенностью: для того, чтобы составилась компания, — внушал он высшей власти, — необходимо устранить сомнение, что капитал компании отберут „на государственные нужды". Во всяком случае, указанное Лангом „сомнительство" было одной из причин, почему торговлю с Китаем, вначале выгодную для казны, продолжало вести правительство и после того, как казенный караванный китайский торг почти ничего не приносил ему, кроме разных пограничных осложнений и неприятностей.

Неприятности и остановки в торговле с Китаем не прекратились и после 1762 года, когда так называемый „китайский караван" был отдан „в вольную торговлю" — с 1762 по 1792 год: в течение тридцати лет торговля с Китаем останавливалась четырнадцать раз. Русское правительство, ради китайского рынка для Сибири, было в высшей степени осторожно в своих отношениях к китайцам, но согласия с ними не было, а потому и не могло не быть серьезной шероховатости и в торговых операциях. „Китайский торг", — писал кн. Щербатов в 1788 году, — „стал рушен от несогласия нашего с китайцами". Насколько русское правительство, с одной стороны, дорожило установлением правильной торговли с Китаем и с другой, — боялось всяких осложнений в отношении к нему, видно из того обстоятельства, что экспедиции профессора Лаксмана, отправленной в 1791 году на казенный счет в Японию было запрещено производить изыскания нового пути по р. Амуру, „дабы тем не возбудить подозрения в Китайском правительстве и в переговорах об открытии взаимного торга не подать повод к новым затруднениям". В XVIII столетии торговля с Китаем велась преимущественно из Кяхты,—места, установленного, как пограничный пункт для торговли в 1728 году и об'явленного торговой слободой сенатским указом 1743 года. Торговля была меновая, что определено и трактатом с китайцами 1728 года. С русской

стороны предлагалась преимущественно мягкая рухлядь, главнейший продукт Сибири, а в обмен получались от китайцев преимущественно разные мануфактурные и заводские изделия: всяких цветов китайки, шелк, бархат шелковый, румяны, чай кирпичный и байховый, сахар-леденец.

В течение XVIII столетия кяхтинская торговля, однако, развивалась медленно, и как в 1829 году писал из Тобольска министру финансов действительный статский советник Петр Словцов в особой записке („об отвращении затруднений, для купечества разорительных, по кяхтинской торговле"), „за 15 лет перед сим" (около 1814—1815 г.г.), т. е. сто лет тому назад, была известна „только иностранным купцам"; но „в последние годы", сообщал министру Словцов, кяхтинский торг „дошел до того, что количество привозных товаров из обеих столиц и других городов простирается до 19 мил. рублей"; тем не менее, не все эти привозные в Кяхту товары сразу сбывались в Китай: „количество непроменных товаров", писал Словцов в той же записке, „остается ежегодно от 4 до 7 мил. рублей [1]).

Вместе с мехами отправлялись с давних пор из Сибири и кожи, выделка которых производилась и здесь, но которые шли также из Казани, Вологды, Устюга. С течением времени к означенным русским товарам присоединяются иностранные, а потом и разные произведения русской мануфактуры, особенно с 1792 года, когда начали вести китайскую торговлю возникшие, наконец, частные компании. Из шести компаний две были сибирские — иркутская и тобольская, торговавшие шерстью, белкой, соболями, сибирскими лисицами, песцами и шубами, а остальные образовались в разных городах Европейской России, в том числе — Казани и Москве, и отправляли в Кяхту местные и всякие иные, даже заграничные товары. Таким образом, торговля с Китаем из собственно сибирской все более и более превращалась в транзитную, и меховой оборот, питавшийся, главным образом, Сибирью, становился все менее и менее, стушевываясь перед торговлей мануфактурными товарами. С 20-х годов XIX века торговля мягкой рухлядью стала клониться к упадку, что, разумеется, вредило интересам сибиряков; но это падение меховой торговли было последствием не расширения сбыта в Сибирь и в Китай московскими купцами мануфактурных произведений, как думает Корсак (в своем сочинении „Историко-статистический обзор торговых сношений

[1]) Архив Деп. Тамож. Сбор., Дело Деп. Внутр. торговли. № общего каталога 4066, связка 350.

России с Китаем", стр. 177), а более глубокой экономической причины — сильного уменьшения пушного богатства Сибири; последнее же явление, в свою очередь, было неизменным результатом хищнического лесного и звероловного хозяйства Сибири, что, при естественно развивавшемся обогащении сибирских оборотов новыми товарами, повело к радикальной перемене в относительном значении разных товаров в сибирском экспорте.

В самом деле, к лесной площади Сибири, в XVIII столетии по-прежнему безграничной, русские, как и в XVII столетии, относились, как к самому лютому своему врагу: они беспощадно жгли леса, а в результате уже к половине XVIII столетия в Западной Сибири почти вовсе не осталось ценного зверя; беспощадно он истреблялся и там, где его еще было достаточно, и от самого начала XIX века дошли до нас жалобы на оскудение ценного зверя в Сибири, которое с тех пор шло все более и более быстрым темпом [1]). Известный путешественник по Сибири и исследователь Камчатки Крашенинников в своем сочинении „Описание земли Камчатки" (С.-Петербург, 1786 г.), указав, что по покорении Сибири русскими всюду в Сибири соболей было множество, „особливо" „в бору" по Лене, от устья Олекмы до речки Агири и что „соболиная ловля" там была богатая, дальше отмечает, что „ныне", т. е. в его время, „не токмо там, но и в других местах, где есть российские поселения, нет никакого промыслу". Соболи еще оставались, но „в отдалении" — „по пустым лесам и по высоким горам" (стр. 234 и 235). В это время соболей в Китай (Пекин) вывозилось еще от шести до шестнадцати тысяч ежегодно (1768—1785 г.г.), тогда как в 1735 г. было вывезено 19.571 штука, а в 1728 году—51.920 штук [2]). К нашему времени отпуск соболей вообще за границу страшно сократился; теперь вывозится прямо таки ничтожное количество: так, в 1903 году было вывезено 46 штук, в 1904 году 7 штук и в 1905 году — 14 штук [3]). Нельзя сомневаться, что главною причиною падения вывоза соболя было истребление в Сибири этого ценного зверя, разделившего свою участь с

[1]) Указывают, что прежде всего уменьшался не хищный ценный зверь, а хищный как бы даже увеличивался (Ядринцев, „Сибирь, как колония", ссылается на Кривошапкина, 334); но впечатление увеличившегося количества хищных зверей вполне, получилось именно от слишком быстрого исчезновения ценных зверей сравнительно с более медленным убыванием хищных.

[2]) Грусевич, „Посольские и торговые сношения России с Китаем" (до XIX в.), Москва, 1882 г., стр. 272.

[3]) „Обзор внешней торговли", издание Департамента Таможенных Сборов, С.-Петербург, 1905, 1906, 1907 г.г., стр. 106.

другими ценными сибирскими, в том числе и морскими, зверями[1]) Но соболь, несомненно, стоял среди них на первом месте: известно, что соболь в XVII и XVIII столетиях был не только главнейшим меховым товаром, но и играл роль денег, именно как основная меновая ценность в Сибири. Теперь для нас окончательно должно быть ясным, почему торговля из Сибири в соседние государства мало-по-малу превратилась преимущественно в торговлю чрез Сибирь — в транзитную; торговля, при всей ее неразвитости, уже не могла удовлетворяться мягкою сибирскою рухлядью. Ценных сортов ее стало мало, и специально меховой оборот стушевался пред более широким мануфактурным, приходящим со стороны, издалека; ибо сибиряки, истратив свои зоологические богатства, сами еще не заменили их туземным фабричным производством.

Оскудение соболиных и иных звериных промыслов в бассейне Лены подталкивало к „дальнейшему движению" в „пустые", но промысловые места на с.-в., к отысканию новых земель, вследствие чего и организовались экспедиции в Камчатку, на острова Великого океана и к Американскому материку. Вслед за географическим открытием возникала промысловая эксплуатация зоологических богатств в новых краях; начали составляться и компании для этой цели, работавшие на дальнем северо-востоке России уже в конце XVIII стол. Промысловая деятельность здесь рыльского именитого гражданина Шелихова имела своим последствием более грандиозное предприятие—учреждение в 1779 году Российско-Американской компании, наделенной на 20 лет привилегией для промыслового и торгового дела на Камчатке, на островах Курильских и Алеутских и по берегам Северной Америки[2]). Учреждение этой компании[3]) было, таким образом, результатом новых географических открытий и энергии промышленных людей, внедрявшихся в новые страны сейчас же по приобретении их. Но этого было мало. Обладание Сибирью направляло взоры русского правительства не в эти только места, дикие и малолюдные, и не на один китайский рынок. Русское правительство делало попытки заглянуть из Сибири в иные страны: на юг — в Индию и на восток — в Японию, с теми же коммерческими целями; но эти

[1]) „Добыча котиков и бобров", вслед за другими утверждает современный нам автор, „велась самым хищническим и неразумным образом, и морские богатства быстро уменьшались" (Вернадский, op. cit., 22).

[2]) Эта компания, в число акционеров которой впоследствии (в 1802 г.) вступили высочайшие особы, была образована наследниками Шелихова в сотрудничестве с Голиковым и Мыльниковым (Вернадский, op. cit., 22).

[3]) О деятельности ее мы будем говорить в 3-м выпуске настоящих „чтений".

попытки в XVII стол., да и позднее, не имели успеха. В южном направлении лишь с Бухарой продолжались торговые сношения. Екатерина II покровительствовала этой торговле, но тем не менее в ее царствование наш другой ученый путешественник XVIII века, Лепехин, бухарских купцов не нашел на ирбитской ярмарке. „Тот", пишет он в своих „дневных записках", „кто читал описание Гмелина, Миллера и Фишера об ирбитском торжище, тщетно ныне на оном будет искать хивинцев, бухарцев, армян, греков с продуктами их земель". Следовательно, если за первую половину XVIII столетия купцы перечисленных народов посещали ирбитскую ярмарку, то во вторую это посещение было не так заметно.

По свидетельству Лепехина, сюда приезжали только русские купцы „из внутренних и пограничных городов", а кроме них— „окольные татары и вогуличи" (стр. 10). Торг на ирбитской ярмарке был двух родов: розничный, или мелочный, и гуртовой. Розница удовлетворяла потребностям сибиряков в привозных товарах из Европейской России, а приехавших оттуда и вообще окольных с Ирбитом обитателей—в сибирских товарах. Гуртовая торговля в Ирбитской слободе, как и в Кяхте, была меновая и требовала, по мнению Лепехина, „не малаго искусства и проворства". И в XVIII столетии самые большие обороты в Ирбитской слободе состояли из произведений Сибири, главным образом, пушного товара; но чем дальше, тем больше выдвигается в этих оборотах значение чая, сделавшегося главным товаром на ирбитской ярмарке во второй половине XIX века. Впрочем, к этому времени подобную эволюцию пережила и кяхтинская торговля, которая почти совершенно свелась к монопольному торгу чаем. Не даром в одной записке 1844 года „о кяхтинской торговле" было заявлено: „Почти единственный предмет нашей торговли с Китаем есть чай [1]).

---

[1]) Эта „записка" очень любопытна; сообщенная правительству „секретно", она удостоилась следующей надписи: „Есть весьма замечательные мысли. Нужно иметь в виду сию записку при дальнейшем соображении". Архив Департамента Таможенных Сборов. Департ. Вн. торговли, № общ. кат. 4086, ст. 352. Содержание этой „записки" будет опубликовано в 3-м выпуске „Чтений", где более или менее подробно будет изложена история сибирской торговли в XIX столетии. Здесь только отметим пошлинные сборы с чая в первой половине XIX столетия, по кяхтинской торговле.

Годы (по шестилетиям):	Сумма в год:
1811—1817	1.067.044 руб.
1818—1824	1.860.951 „
1825—1831	2.104.019 „
1832—1838	2.597.372 „
1839—1845	3.736.082 „

Архив Департамента Таможенных Сборов, Дела Д-та Тамож. Сбор., № 74, св. 9.

Во второй половине XVIII столетия Лепехин помещает чай лишь в числе других китайских товаров, не выделяя его из их ряда; с русской же стороны он на первое место ставит мягкую рухлядь, шедшую из „дальней Сибири", а также от вогуличей и березовцев и состоявшую из куницы, соболя, горностая, белки, песца, волка, лисицы, выдры, россомахи, бобра, оленины и лосины а потом указывает на произведения „окольных медно-плавильных и железных заводов",—на „всякую железную утварь и медную посуду"; далее на разный товар из Архангельска и Москвы (сахар, французскую водку, виноградные вина, сукна, холст, лимоны, сласти и шелковые материи). Бухарские и хивинские товары (хлопчатая бумага, полушелковые материи, овчинки, мерлушки, кишмиш и др.) тоже имелись на ирбитской ярмарке во время пребывания там Лепехина (8 и 9 стран.), будучи, очевидно, доставлены сюда преимущественно русскими же китайцами. Видимо, ко 2-й половине XVIII стол. ирбитская ярмарка достаточно развилась; но все-таки на нее далеко не все купцы смотрели, как на необходимый этап в движении товаров из Сибири и Китая в Россию: „знатные купцы", сообщает Лепехин, т. е. наиболее крупные оптовики, не возили своих товаров в Ирбит, а прямо везли их из „дальней Сибири и Кяхты в Москву и другие русские города", а „российские товары" отпускали прямо в Кяхту (стр. 10). Таким образом, во второй половине XVIII стол. ирбитская ярмарка, происходившая „большею частью" в феврале, более была нужна для Сибири, для ее увеличившегося русского населения, чем для России, откуда торговый путь в дальную Сибирь, до самых ее границ и обратно, был уже проторен, и купцам, ведшим большую транзитную торговлю чрез Сибирь, вовсе не было надобности на лишнем для них передаточном пункте делиться своими барышами с посредниками. С дальнейшим увеличением в Сибири русского населения, должен был увеличиваться в ней спрос не только на „российские , но и на заграничные, западно-европейские товары. И вот, удовлетворение этому спросу и стало важнейшей коммерческой миссией ирбитской ярмарки со второй половины XVIII ст. Раньше, в XVII стол., она возникла и далее, в XVIII стол. развивалась под действием спроса в европейской России на сибирские меха, при малой известности путей за ними в „дальную Сибирь"; теперь, во второй половине XVIII стол., она стала развиваться под действием спроса Сибири на русские и европейские товары; при чем вначале развивалась довольно медленно, приблизительно до 1830 г., хотя на ярмарке стали появляться и бухарцы, и хивинцы, и армяне, и

греки; а потом, по мере увеличения сибирското спроса, все быстрее и быстрее, доводя к 50-м годам XIX столетия свои обороты до 29 мил. рублей серебром (тогда как еще в 1724 г. оборот ярмарки равнялся 7.178.600 руб. ассигнациями [1]).

Из этого общего обзора коммерческого отношения русского правительства к Сибири и коммерческого положения Сибири мы видим, что 1) в XVIII столетии, даже во второй половине века, Сибирь более возбуждала надежд в правительстве на доходы от торговли с „окольными" государствами и народами, чем эти надежды оправдывала, что 2) самое значительное, собственно сибирское (а не пограничное) торжище, — ирбитское, — пережив острый период пушной лихорадки, которой были охвачены все сибирские торги в конце XVII столетия, только что вступило на чуждый ажитации, спокойный путь удовлетворения преимущественно нуждам сибирского населения на счет сибирских товаров, шедших в Россию и помимо этой ярмарки, и что 3) торговля даже с Китаем, на которую у русского правительства XVIII-го столетия были особенные надежды, торговля, на установление которой правительство — и Петра I и Екатерины II — употребило особые усилия, плохо налаживалась и, в сущности говоря, до самого конца XVIII стол. оставалась в периоде первоначального организования. Действительно, баланс китайской торговли в XVIII стол. был неизменно для нас неблагоприятным: Китай давал России, и прежде всего, Сибири больше товаров, чем Россия, и прежде всего Сибирь, давала Китаю, почему и денег из России уходило в Китай больше, чем поступало из Китая в Россию. Ввоз оценивался в 4 миллиона, а вывоз поднимался едва до 1.800.000 рублей [2]).

Мы видели, что китайцы относились к русской торговле в Китае отрицательно. Помимо того, что они меньше нуждались в этой торговле, чем русские и в частности сибиряки, причина отрицательного отношения к русской торговле заключалась еще и в антипатии китайцев к русским вообще. Антипатия же родилась у желтолицых тоже не без причины. Причина ее та же, которая вызвала ненависть к русским в сибирских инородцах: невысокая моральная ценность пришельцев во всех отношениях.

Русские купцы пьянствовали и дебошировали не только в Сибири, но и в Китайских городах, и оттуда их изгоняли именно за такое их поведение. Естественно, что китайцы о русских были очень плохого мнения, и в Китае даже оффициально было об'яв-

[1]) Пермский сборник, II, 11—13,—сведения об ирбитской ярмарке.

[2]) Шинцлер, Statistique et itinéraire и пр., часть I, стр. 143.

лено, что „российские люди дикие и вздорные и пьяницы, от которых весьма надлежит иметь всякое опасение и от них отдаляться". Такое мнение о русских купцах подтверждается и сообщениями русских путешественников. Так, Гмелин свидетельствует, что каждый тобольский купец в два месяца выпивает столько водки, что это количество не выпьет иных и 100 человек в два года, а во время своих торговых странствий купцы пили еще больше. В Кяхте, по сообщению Палласа, купцы постоянно пили, но не чай, а водку и обыкновенно пропивали или проигрывали (в шахматы и карты) всю свою выручку. От одного этого торговля не могла итти успешно, а кроме того купцы в пьяном виде учиняли разные скандалы, сильно содействовавшие тем несогласиям, от которых происходила остановка в торговых сношениях России с Китаем. Удивительно ли после этого, что на китайскую торговлю, ведшуюся с обоих сторон – с русской и с китайской—со всевозможными обманами и потому тем более ненормально поставленную, обратили внимание англичане. Они, после экспедиции Кука, стремились захватить ее в свои руки на обоих ее путях — сибирском и туркестанском. Тогда же они задумали начать „эксплоатацию рыбных богатств Берингова моря" [1]), поставив таким образом уже в XVIII столетии вопрос о коммерческом и промышленном господстве в Сибири и на Дальнем Востоке, на берегах Великого океана.

До этого океана из европейцев добрались первыми русские землепроходцы еще в XVII веке; они же, люди необыкновенного закала, „добрые молодцы" вольной, гулящей Руси, перенесшие на себе все невзгоды и тягости жизни в Московском государстве и вынесшие оттуда вместе с физической и психической мощью жесткость и даже жестокость отношения к покоренным ими сибирским народцам, впервые столкнулись и с китайцами, поразив их неслыханною выносливостью и дерзкою отвагою в предприятиях в Амурском крае. Как обитатели этого края, так и китайцы, ближайшим образом манджуры, получили первое понятие о русском народе по этим суровейшим его представителям, шедшим в сибирские леса и горы на время, — „ночку ночевать", за добычей, и разумеется, это понятие с китайской точки зрения оказалось далеко не в пользу русского народа... Таким образом, еще в XVII столетии, когда инородцы Восточной Сибири стали переходить и перебегать на сторону „Богдайского царя", а пришельцы - казаки заявили себя, как разбойники и грабители в По-Амурье, бывшем тогда китайской провинцией, создалось известное предубеждение

[1]) Столь значительных еще и в наши дни. Cons. Histoire du commerce, II, 23.

против русских в Китае. Русским, по изгнании их с Амура, нужно было иметь много такта и выдержки в отношениях своих к китайцам, чтобы это первое отрицательное впечатление, полученное китайцами от подвигов первых русских пионеров Сибири, могло быть забыто китайцами; но у русских колонистов, как служилых, так и купцов в Сибири, и в XVIII столетии, если уже и не было отваги прежних „землепроходцев", то их некультурность, дикость и склонность к пьянству и насилиям остались прежние, и если первые пришельцы вызвали в Сибири и по соседству с ней ненависть к себе, то эти позднейшие пришельцы возбуждали к себе со стороны китайцев не столько ненависть, сколько презрение. А такое настроение народа, в рынке которого нуждалась сибирская колония, разумеется, не могло содействовать успешности русско-китайского торга, и он действительно в течении более чем столетия не развивался, а влачил свое существование. Это было известно Англии, и отсюда—ее стремление обратить китайскую торговлю к своей выгоде... Это было слишком заманчиво для культурной коммерческой державы. Заманчиво было воспользоваться и рыбными богатствами омывающих Сибирь морей,—богатствами планомерная эксплутация которых была не под силу их некультурному хозяину. Вообще, нецивилизованность, обнаруженная русскими в Восточной Сибири, явилась одним из главных условий 1) того, что к ним и в XVIII веке отрицательно отнеслись соседние государства—Китай и Япония, и 2) того, что самая сильная морская держава, Англия, уже тогда задумала использовать это отрицательное отношение к русским на Дальнем Востоке в своих интересах.

Увеличение населения в Сибири, бывшее основным фактором изложенных изменений в сибирской экономической жизни, являлось и в XVIII стол. результатом главным образом колонизации. Эмиграция в Сибирь продолжалась. Это—так называемая „вольная колонизация". Если жизнь в Сибири была тяжела, и некоторые, познакомившись с ней на личном опыте, бежали из Сибири назад, на родину, то за-то многие другие, доведенные дома до последней крайности, продолжали надеяться на лучшее вдали от родины там, где ждал их земельный простор и где, как чарующий мираж, мелькала, все далее и далее отходя и тускнея, воля... Эта „воля"— мираж по-прежнему – и завлекала обездоленных не только на Дон на Волгу, на Кавказ и в другие места, но и на верхотурскую дорогу, в далекую холодную Сибирь. От вольной эмиграции туда опустела особенно Поморская область, где число дворов в городах

к 1708 году уменьшилось на две трети сравнительно с тем числом, которое было зарегистровано там в 1686 году [1]). В указе 1714 г. зараз мы узнаем и о сообщении архангельского губернатора, что невозможно „за пустотой" набрать в потребном количестве рекрут в крае, и о недоумении Петра I по поводу этой „пустоты", „понеже", мотивирует он свое недоумение, „не все крестьяне на Дон или в Сибирь ушли, а мору слава Богу не было[2]). Не все — это разумеется, но тем не менее сам Петр здесь отмечает направление существовавшего движения,— и оно по-прежнему тянулось на Дон и в Сибирь. На обилие беглых в Сибири, явившихся сюда из европейской Сибири, указывает и законодательство XVIII века; среди него мы имеем целый ряд указов, которыми правительство стремилось бороться со слишком развившимися побегами в Сибирь, приносившими большой вред первому сословию империи: таковы указы 1725, 1734, 1759 и 1787 г.г. В интересах дворянства правительство боролось с побегами крепостных, и оно не могло поступить иначе, так как само состояло из дворян; но, несмотря на то, что интересы владельческого класса стояли в числе самых первых интересов государства, все-таки у государства, как такового, были и такие задачи, на разрешение которых должно было нести свою лепту и главенствующее сословие. К числу этих задач государства следует отнести его заботу, вытекавшую из его экономических и финансовых потребностей и целей, заботу о скорейшей колонизации Сибири в интересах наиболее успешной эксплоатации страны во всех отношениях, в том числе и, главным образом, ее минеральных богатств. Ради необходимого именно государству развития в Сибири горного дела, правительство не всегда налагало штраф на заводчиков за держание беглых, как оно это сделало в 1723 году, оштрафовав Демидовых за 150 беглых рекрут, найденных на их заводах; правительство и разрешало держание беглых; в 1735 году было дозволено не возвращать владельцам тех беглых крестьян и дворовых, которых успели уже зарегистрировать в подушный оклад при заводах. Правда, позднее, в 1755 г. было сделано некоторое ограничение к этому разрешению; но в общем правительство довольно снисходительно относилось к беглым в Сибири: их руки были нужны государству для службы и для работы ему, в особенности для работы на казенных горных заводах. В интересах этой последней работы производилась правительством усиленная колонизация именно горнозаводских рай-

[1]) Колонизация Сибири, цитир. выше оффициальное издание, стран. 28.

[2]) Андриевич, цит. выше, стран. 33 и Колонизация Сибири, стран 28.

онов Сибири. Государственная власть не останавливалась предперемещением в эти районы населения из других краев Сибири, тоже не изобиловавших населением, но в населенности которых правительство было менее заинтересовано. Так, вскоре после основания Нерчинского завода, в Нерчинский край (куда еще в 1697 году было послано 624 души беглых верхотурских крестьян) начали переселять крестьян семьями с Енисея и из других сибирских мест, и количество таких семей с каждым разом увеличивалось, край заселялся на счет других краев Сибири, и, по переписи 1763 года, за Нерчинским горным заводом числилось до 2.026 крестьянских душ. Также искусственно составлялось население на алтайских заводах: сюда в 1749 году,— значит, всего через два года по принятии их в казну—было велено пересылать всех, не попавших в последние ревизские списки по Сибири, но попавших в ведение сибирской губернской и прочих сибирскиъ канцелярий, а в 1761 г. специально для работ на алтайских горных заводах было приказано набрать в Сибири 1.000 рекрут. Подобными мерами население в Барнаульско-алтайском горном районе было доведено к 1761 г. до 11.000 чел. Количество собственно заводских рабочих в Сибири, так же, как и на Урале, увеличивалось посредством так называемой приписки к заводам государственных крестьян, прежде всего окрестного крестьянского населения, но так как его не всегда было близь заводов достаточно, то в заводский край оно передвигалось из других мест—сначала как бы не для работы на заводах, а просто для жизни на новых местах; но потом эти переселенцы приписывались к заводам и таким образом попадали в заводскую кабалу. Именно этим путем было поступлено по отношению к алтайскому населению: в 1671 году даже и те жители края, которые не были заводскими, посредством приписки к заводам сделались заводскими. После 1764 года постепенно, почти до 1775 г., все население Нерчинского края тем же путем было обращено в заводское и к 1794 г., как таковое, исчислялось более чем в 14.500 ревиз. душ [1]). Словом, Сибирь и ее население, как туземное, так, видим, и пришлое, в XVIII стол. энергично стремились использовать прежде всего в интересах государства, нужды которого становились всё ощутительнее по мере роста его внешнего политического значения, да и интересов правящей общественной группы. Петр Великий, особенно ревнивый к казенному интересу, который он настойчиво преследовал в Сибири, не желал делиться этой колонией с тем сословием, которое

[1]) Колонизация Сибири, стран. 39—42.

особенно охотно в прежние времена пристраивалось к колонизации, — с черным духовенством, стремившимся и в Сибири, как раньше в Поволжье, основывать новые монастыри и прибирать к ним сначала земли, а потом и окрестное население. Теперь повеяло в высших сферах иным воздухом, освободившимся от крайностей ортодоксального мировоззрения, и к означенному стремлению Петр Великий отнесся не так, как к нему относилось старое московское правительство: он начал ставить решительную преграду к дальнейшему, почти безконтрольному, распространению монастырского землевладения в Сибири. В самом исходе XVII в., в 1698 г., в грамоте на имя томского воеводы было запрещено „без великого государя указу и без грамоты из Сибирского приказу" строить новые монастыри „ссыльным и прихожим старцам", а также давать монастырям какие бы то ни было, ясашные или иные, сибирские земли, „для того", пояснялось в грамоте, „что в Сибири мужеских и женских монастырей довольно число есть" [1]). Высшая сибирская духовная администрация тоже стремилась к „вотчинкам", „рыбным ловлям и хмелевым угодьям", но московское правительство конца XVII и начала XVIII стол. и домогательствам сибирских митрополитов дало энергичный отпор [2]).

Сибирские земли были нужны не для монастырского спасения, сделавшегося к тому же слишком соблазнительным, а для культурных целей в интересах государства, правительства и связанных с ними материальными интересами лиц и социальных групп. Петербургское правительство стремится извлечь из Сибири возможно большие выгоды не только путем собирания ясака с ее населения, но и путем всесторонней эксплоатации ее территории. Даже в отдаленнейших местах Восточной Сибири усердно насаждалось земледелие. Впервые известия о нем в Якутской области встречаются у Штраленберга и относятся они к 1730 году; приблизительно в то же время земледелие зачиналось в Амчинской слободе (под 61°с.ш.), в 178 верстах на восток от Якутска; в эту слободу в 1735 году были посланы из Илимского округа хлебопашцы, но борьба с негостеприимной природой была здесь невероятно трудна, и сравнительно немногим увенчивался их тяжелый труд.

---

[1]) Исторические акты XVII в., издан. Иннок. Кузнецова, 1890 г. Томск, стр. 75 и 76.

[2]) Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа Оглоблина, III, стран. 133—135.

Путешественник Паллас сообщает нам сведния о земледелии в Амчинске от 1780 г. В этот год было посеяно: собрано:

Озимой ржи	16 пуд.	75 пуд.
Яровой ржи	311 „	1143 „
Ячменя	347 „	1474 „
Овса	61 „	130 „
Всего перечисленного	735 „	2852 „

Распространялось хлебопашество в Якутской области чрезвычайно медленно.

В 1780 году оно едва добрело до Паледуя ($60^1/_2{}^0$ с. ш.), а окрестности Олекминска увидали земледельческие опыты лишь в 1803 году [1]). Тем меньшим успехом сопровождались земледельческие опыты в Камчатке, которая с первого взгляда казалась, по выражению Крашенинникова, „больше к обитанию зверей, нежели людей способной"; но и здесь правительство Екатерины II пыталось в удобных для того местах завести хлебопашество, и, по свидетельству того же путешественника, „начало" его было там „положено": „туда" было отправлено несколько крестьянских семей „с довольным числом лошадей, рогатого скота" и другого земледельческого инвентаря [2]). Земледельческая культура, однако плохо прививалась или, лучше сказать, совсем не прививалась на Камчатке, и потому неудивительно, что и в начале XIX века все еще надо было „полагать" начало земледелию. Вот что мы находим по этому вопросу в цитированной уже нами выше „Исторической записке": „Между тем, как", говорится здесь, „начальство занималось распоряжением в доставлении в Камчатку хлеба, инструментов, скота и прочего, для заведения землепашества, и как казна употребляла на сие чрезвычайные расходы, — в течение двух лет, 1803 и 1804 годов не было сделано еще и порядочного начала к землепашеству и во все сие время выстроено только солдатами три дома". Разные прожектеры и ловкие дельцы, обыкновенно пристраивающиеся к казенным предприятиям, не замедлили уверить правительство, „что Камчатка в 1803 году покажет опыты земледелия и что она не только своих жителей, но и Охотск будет довольствовать хлебом"; но эти „уверения", как это часто бывает, ни мало не оправдались действительностью, и в результате получились лишь казенные убытки. „Испрошенная г. Сомовым на семянной хлеб, земледельческие орудия и проч сумма — 44.349 руб.", сообщает „Историческая записка", „почти вся уже издержана";

[1]) Серошевский, Якуты, т. I, 1896 г., С.-Петербург, стр 78 и 79.

[2]) Описание земли Камчатки, страницы 149 и 150.

но ни малейшего успеха в хлебопашестве по сие время (1810 г.) нет и ожидать нельзя" [1]).

Если правительство так усердно заботилось о земледельческой колонизации такой негостеприимной, неплодородной и суровой во всех отношениях страны, как Камчатка, то оно старалось заселить не богомольцами, а плательщиками и работниками более одаренные природой сибирские края, особенно где было начато горное производство, или где (как, напр., в Забайкалье) мечтали завести суконные и юфтовые фабрики для развития торговли с Китаем. И всюду в Сибири дело колонизации начиналось с захвата земли под пашни: в земледельческой оседлости русского населения в Сибири и правительство и само население видели главную опору для настоящего, прочного обладания страной и для эксплоатирования ее во всех отношениях, в том числе и ее „золотого дна". В то же время правительство желало возможно скорее колонизировать Сибирь, сделать ее русской и получше воспользоваться всеми выгодами, которые в ней самой и чрез нее можно было бы получить, желало поскорее и получше нащупать ее „дно". Но оно видело, что для скорейшего заселения такой громадной страны, как Сибирь, одной вольной колонизации было недостаточно, тем более, что во второй половине XVIII стол. эта колонизация, повидимому, становится слабее. И вот в XVIII стол. правительство начинает в широких размерах практиковать невольную колонизацию,—колонизацию чрез ссылку в Сибирь преступников. Путь к этой колонизации,—мы это знаем из первого выпуска настоящих „Чтений",—был проложен раньше, но в XVIII стол. он настолько расширился, что история колонизации Сибири в этом столетии в значительной мере стала совпадать с историей ссылки. В XVIII стол. Сибирь превратилась в ссыльную колонию, и таковой же она переходит в XIX век, в течение которого сибирская ссылка, хотя уже и не с колонизационной целью, достигает колоссального развития. Чтсло ссыльных в Сибирь в XVIII стол. было значительно, но определить его нет ни малейшей возможности, ибо статистика ссыльных начинается не раньше, как с 1807 года. Попадаются в Полном Собрании Законов такие цифры, как напр., в высочайше утвержденном докладе сената от 1742 г. об учинении новой ревизии: „сосланных на каторгу, читаем мы здесь, „и прочими случаи выбывших — 2.494 человек — за время от 1727 по

---

[1]) Архив Государственного Совета, Д. Государств. Эконом., № 29—1810 г., листы 36 и 37.

1736 г."[1].) Но что можно сказать на основании подобных цифр о числе сосланных в Сибирь за отмеченный период времени?

Всякому при упоминании о сибирской ссылке XVIII стол. невольно приходят на память шведские пленные, сосланные Петром в Сибирь, и разные павшие временщики и влиятельные лица, в роде Меньшикова, Давиера, Бирона, Остермана и др. Не такого рода ссльныыми, разумеется, делалось дело сибирской колонизации, хотя и эти ссыльные не прошли совершенно бесследно для Сибири, особенно шведские пленные, на которых не даром Петр Великий рассчитывал, как на наиболее культурных работников во время экспедиции за песочным золотом. Что касается Меньшикова и тому подобных, то эти „случайные" люди в петербургском правительстве были „случайными" и в Сибири, но и они не должны быть пропущены в истории сибирской ссылки, ибо все-таки их пребывание в Сибири внесло нечто новое в места их поселения, сообщало местным жителям те или другие впечатления, иногда для них полезные, и во всяком случае новые, и вызывало ряд необычных эмоций и воспоминаний...

Читателю приходит также на память масса сосланных в эпоху так называемой Бироновщины всякого звания людей, число коих Манштейн определяет более, чем в 20.000 человек. И еще длинный ряд лиц, ссылавшихся в Сибирь, так сказать, по „политическим" причинам,—лиц, которые свою генеалогию могут вести от без вины виноватых царских невест XVII века и протопопа Аввакума и др., продолжается в XVIII стол. сначала такими лицами, как Палий в начале века, потом Радищевым (записки которого о путешествии в Сибирь теперь изданы) в конце века, а в XIX стол. блестящей плеядой декабристов и ссыльных более поздней эпохи.

Конечно, не этого рода ссыльными совершалась колонизация Сибири; это все были тоже более или менее „случайные" для Сибири люди, представлявшие каплю среди безбрежных ее пространств. Правда, иногда, как мы увидим в ссыльной жизни декабристов, это была капля живой воды, но и в таком случае она имела не материальное, а моральное значение. В материальной истории колонизации могли иметь и имели серьезное значение не отдельные лица, а народные массы, шедшие в Сибирь, как рассказывает первый выпуск „Чтений", и добровольно и невольно, погнанные туда по убитой народным горем владимирке на каторжную работу в сибирских рудниках и тоже на нелегкую работу на сибирских лесных гарях и новях. Не только ради усиления

1) Полное Собр. Зак., XI, 8619.

помещичьей власти, но также,—и это в особенности,—ради ускорения сибирской колонизации Елизавета Петровна в 1760 г. разрешила помещикам ссылать крепостных в Сибирь на поселение за „продерзости". Колонизационное значение тахих ссыльных усматривается из того, что дозволено было ссылать только тех, кто не старее 45 лет, причем помещик не имел права рознить состоящих в браке, а обязывался отправлять в Сибирь крестьян с их женами. Что правительство таких ссыльных считало весьма полезными в Сибири,—а польза от них могла быть, как от колонизаторов страны,—видно и из того обстоятельства, что за этих ссыльных помещикам выдавалась рекрутская квитанция. Таким образом, правительство как бы находило, что ссыльная крестьянская пара в Сибири служит не меньшую службу государству, чем солдат в армии. Но эта колонизаторская служба в Сибири, по узаконению императрицы Елизаветы Петровны, налагалась уже на всю остальную жизнь: помещик не получил от императрицы Елизаветы Петровны права возвращать такого сибирского поселенца опять к себе; это право дала помещику Екатерина II, и она тем самым переместила интересы: на первый план поставила интересы помещика, а на второй—сибирской колонизации...

В 1799 г. правительство, особенно озабочиваясь заселением Забайкальского края, определило в особом указе способ и нормы этого заселения. Забайкалье или, выражаясь словами указа, „полуденный край Сибири, прилегающий к китайским границам",—очень плодородный край с „благорастворенным климатом", но „населен", свидетельствует указ, „мало и не приносит той пользы, которую бы государство от него получить долженствовало"... И вот, мечтая распространить здесь земледелие и скотоводство, а в будущем, в интересах развития торговли с Китаем, суконные и юфтовые фабрики, правительство желало достигнуть этой цели главным образом тем самым способом, к которому оно прибегало в течении всего XVIII столетия,—способом насильственного переселения, посредством ссылки. Кроме „добровольно" переселяющихся отставных солдат, были назначены „принудительно ссылаемые преступники" (исключая каторжников) и крестьяне, тоже, конечно, принудительно ссылаемые помещиками в зачет рекрут; относительно последней группы были повторены прежние нормы, направленные к установлению возможности плодиться и множиться на плодородных местах Забайкалья. „Преступников" было приказано называть ссыльными в течении первых десяти лет, по прошествии которых, при хорошем поведении, они могли быть пере-

ведены в разряд „государственных поселян“ — звание, сразу дававшееся „добровольно“ переселявшимся отставным солдатам. Общее количество переселенцев правительство определяло в 10.999 человек; но для устройства первых поселений назначалось всего 2.000 человек и на них отпускалось из казны до 100.000 рублей. Государственных поселян было велено селить вблизи границы, а ссыльных подальше от нее, но норма земельного надела была определена одинаковая для тех и других, и не малая — по 30 десятин на душу, ибо пустой земли жалеть не приходилось; на бумаге были даны и разные льготы переселенцам обоих разрядов: их должны были снабдить на полтора года сельско-хозяйственными орудиями, семенами, хлебом, скотом, и они освобождались от податей на 10 лет. Этого мало: для первых переселенцев было повелено построить на казенный счет 2.000 домов, за что, впрочем, эти первые поселенцы обязывались „в свободное от полевых работ время“ строить дома для следующих за ними переселенческих партий. Ко всему этому ссыльно-переселенческому делу, по обыкновению, приставлялись „надзиратели“, назначаемые губернским начальством, по обыкновению же, и эти чиновники долженствовали быть „люди надежные, попечительные и знающие в сельском хозяйстве.

Итак, ясно, что и в исходе XVIII стол. в Восточной Сибири даже наиболее удобные для поселения места южной ее части, в Забайкалье, представляли почти пустыню, каковое обстоятельство и вызывало в правительстве настойчивое стремление заселить их русскими. Нетрудно понять, что главнейшую надежду при этом правительство по прежнему возложило на принудительное переселение, на ссылку; ибо отставных солдат, желающих „добровольно“ переселиться за Байкал, едва ли могло быть много. На тех же самых основаниях правительство организовывает дело заселения пустых мест Сибири и в первые два десятилетия XIX века. Но если таким образом у правительства была охота смертная вести дело колонизации Сибири при помощи ссылки, то участь горькая была не столько для него, сколько для передвигаемых им в „дальнюю Сибирь“ „поселенцев“; хотя, с другой стороны, и правительство далеко не достигало той цели, к которой стремилось. На бумаге было все так хорошо устроено, даже губернские чиновники оказывались „людьми надежными“; но в самой жизни, наоборот, ничего не было устроено или, вернее, все было устроено по иному, все было ненадежно. Так, самое передвижение переселенческих партий в Сибири не имело даже элементарной органи-

зации, и они шли в конце XVIII стол. и позднее, в XIX стол., так же ,как в начале XVIII столетия и раньше,—в виде нищих, в страшной нужде, холодные и голодные, питающиеся Христовым именем, в лохмотьях; а по приходе на место назначения эти отверженные люди тоже бывали оставляемы на произвол судьбы, не получая „ни малейшего со стороны правительства призрения", как сообщает нам не иной кто, а сибирский генерал-губернатор Селифонтов. Удивительно ли после этого, что по сознанию самой власти, „предприятие о заселении полуденного края Сибири, вместо чаемой от него пользы, обращалось в сущую пагубу посылаемых туда людей". Если из партии в 624 души, посланных в Нерчинский край в 1697 г., через 2 года прибыло к месту назначения всего 423 человека, то, вероятно, в подобной пропорции терялись поселенцы в пути и впоследствии, не исключая и той эпохи XIX столетия, к которой относится ревизия и генерал - губернаторство Сперанского. Он то, между прочим, и засвидетельствовал, что многие ссыльные не доходили до мест своих ссылок и потому, что почти каждый сибирский администратор оказывался очень „попечительным" человеком касательно ссыльных и из проходящих партий некоторых ссыльных непременно оставлял у себя для услужения. В XVIII столетии, кроме дальне-сибирских рудников, каторга была в Екатеринбурге, где она была закрыта в 1800 г.

Разные другие злоупотребления и всяческий произвол администрации вели к столь бедственному положению партии ссыльных во время их передвижения, что они именно „как мухи" умирали в пути. Ссыльных и на поселение и на каторгу вели этапом. Что такое этап, это хорошо всем известно; к тому же это давно превосходно об'яснено иркутским губернатором в ответ на обращенный к нему вопрос кн. Трубецкой: „Не хорошо я поняла, что значит ваш этап?".

„Под конвоем казаков",—ответил губернатор,— с оружием в руках этапом водим мы воров и каторжных в цепях... Они дорогою шалят, того гляди — сбегут. Так их канатом прикрутят друг к другу и ведут. Они как мухи мрут в пути".

Умирало много, но ссылалось гораздо больше, чем умирало, и число ссыльных росло, хотя, начиная с двадцатых годов XIX века, правительство постепенно перестает смотреть на ссылку, как на средство колонизации. Открывается мало-по-малу перспектива организования продолжающегося туда стихийного переселенческого движения, как в интересах колонизации еще не занятых мест в Сибири, так и в интересах ослабления аграрного противоречия в Европейской России.

По данным Ядринцева, в 1807 году сибирская ссылка равнялась приблизительно 2.035 человек в год, а в 1823 г. это число увеличилось до 6.667 человек в год, в 1824—27 г.г. до 11.000 человек ежегодно. В период же от 1823 г. по 1888 г. в Сибирь было сослано 784.901 человек [1]).

Многие из этих ссыльных не оставались навсегда в Сибири, возвращаясь за истечением срока на родину или до истечения срока убегая из места ссылки в лучшие места; многие, не успев акклиматизироваться в Сибири, ложились костьми в разных Нарымских, Туруханских и тому подобных краях... Но тем не менее в XVIII, да и в XIX столетиях из ссыльных получался обширный социальный материал, послуживший тоже для формирования русского населения в Сибири, и на психике этого населения, разумеется, не могло не остаться следов происхождения одного из существенных элементов, вошедших в его антропологический состав,—следов психологии ссыльного человека, то дышащего озлобленной энергией или, наоборот, примиренно ищущего и прокладывающего новые пути развития и устроения сибирской жизни, то придавленного судьбой и погибающего человека, которого русский народ одинаково, без различия его особенностей, называет „несчастненьким".

VI.

Колонизация Сибири русскими и в XVIII стол. продолжала серьезно затрагивать интересы инородческого сибирского населения. Свои лучшие земли, свои лучшие промыслы инородцы принуждены были делить или совсем уступить пришельцам. Не говоря уже о тяжести ясачных и других повинностей в пользу государства, не говоря также о разных притеснениях администрацией, разными промышленниками, купцами, всякими искателями наживы (о чем было достаточно говорено в первом выпуске „Чтений"), одно это обстоятельство — занятие русскими земель, принадлежавших раньше аборигенам страны, способно было вызывать со стороны последних энергичный отпор и долго спустя после покорения Сибири, закончившегося, говоря вообще, к концу XVII столетия. По покорении, этот отпор выражается в набегах на русские поселения кочевых инородцев, напр. башкир, или даже в восстаниях инородческого населения, особенно там, где оно принуждено было жить бок-о-бок с пришельцами. Эти набеги и вос-

[1]) Сибирь, как колония, 245 и 246.

стания, доставлявшие русскому населению в Сибири много бед, а русскому правительству и властям немало хлопот, повторялись в XVIII столетии очень часто, и инородцы с величайшими усилиями были окончательно усмирены лишь во второй половине этого века. Об этих усилиях прекрасно свидетельствуют документы, собранные Г. Н. Потаниным[1]). Как видно из них, весьма нередко то в киргизские, то в башкирские, то в калмыцкие и урянхайские улусы посылались военные отряды с целью окончательного успокоения инородческого моря, иногда доверчиво вливавшегося в пределы российской государственности, но чаще, под давлением притеснения со стороны ее агентов, отливавшего из них и вообще остававшегося по отношению к ней в довольно двусмысленном положении. Вчитываясь в те же документы, мы видим, что приемы борьбы русского правительства с сибирскими инородцами живо напоминают нам XVII век, когда в их земли вторгались не регулярные войсковые части под начальством полковников, майоров, поручиков, а охочие партии вольных промысловщиков и казаков-землепроходцев под начальством их атаманов. Инородцам, в особенности неоднократно бунтовавшим башкирам, не было пощады от „драгун и солдат"; поиск чинился за некоторыми „в дальних степных местах и в горах"—„денно и нощно", с „скорейшим поспешением", как это, напр., делал воинский отряд полковника Павлуцкого в 1737 году; найдя, команды побивали башкир „мужеска и женска пола" и в полон брали немалым числом[2]). Жестокость, которою сопровождались подобные карательные походы, понятна; путем терроризирования хотели предотвратить бунты башкир против русской власти и постоянные нападения их на русские поселения. Русским с самого начала XVIII ст. башкиры с убийственной настойчивостью наносили страшный вред, создавая, таким образом, своею ненавистью к русским аналогичную психологию и в русском населении по отношению к ним.

В самом деле, по актам первой четверти XVIII стол. можно видеть, что положение русского оседлого населения в южной полосе Западной Сибири было отчаянным: ни в своих деревнях, ни в полях они ни на минуту не могли считать себя в безопасности от внезапного башкирского налета и, в сущности, постоянно должны были находиться на военном положении. Чувствуя себя все время

---

[1]) Материалы для Истории Сибири. Изд. импер. Общ. Истор. и Древн. Российск., 1867 г.

[2]) Материалы для истории Сибири, Издание Императорск. Общ. Истор. и Древн., 1867 г., стр. 1 и 5 и друг.

под гнетом какой-то хронической осады и атаки со стороны башкир, много терпя урона в людях и будучи часто разоряемо набегами, русское население, разумеется, долго было не в состоянии поставить свое земледельческое хозяйство более или менее прочно.

Этому хозяйству в означенной полосе Западной Сибири долго недоставало политической обеспеченности: край все еще был спорным, незамиренным, башкиры отнюдь еще не примирились с переходом их степей к русским и без упорной борьбы никоим образом не хотели уступить их под чуждую им земледельческую культуру. И вот нередко бывало так: выедут крестьяне в поле „сеять хлеб", как вдруг набегут на них „воинские люди — башкирцы" партией человек в 50, некоторых из крестьян перебьют из луков и ружей, других ограбят, многих, преимущественно женщин, возьмут в плен, причем угонят и коней и рогатый скот от деревни в свои степи, куда вместе с пленными увезут и награбленные в деревне крестьянские „пожитки" [1]). Это было не случайным, а именно общим, настойчивым явлением. В сибирских актах мы то и дело читаем: „башкирцы многих крестьян побили и в полон взяли и деревни разорили, и ныне в разных местах являютца [2]).

От башкирских набегов страдали и слободы, и даже заводы, но деревни прямо-таки разорялись в конец. „В нынешнем 1709 году, жаловались заводские приказчики, „воровские воинские люди башкирцы приходят по многое время, почасту в уездные погосты и в деревни и, поругаяся, у церкви, у трапезы и у часовни у иных двери и замки и крюки дверные обрубали, а у иных часовень и киоты и тябла обрубили ж". Напуганное подобными набегами население вместе со своими „попами" и другими церковниками быстро убегало, если узнавало о приближении врага, и иной раз „за скорым побегом" „попы" забывали в церкви принадлежности богослужения, которые и делались башкирскою добычею [3]). Башкиры навели такой страх на русское население, что, по сообщению тех же заводских приказчиков, „поп с крылошаны и старосты из уездных разных приписных слобод деревенские жители крестьяне в деревнях жить не смеют [4])

Словом, в Западной Сибири, уральском районе, получалось такое положение, что крестьяне были поставлены в невозможность исполнять работу на казенных горных заводах, „потому что",

---

[1]) Памятники сибирской истории XVIII стол., I, XI, напр., стран. 368.
[2]) Ibid., 352 стр.
[3]) Ibid., 353 стр.
[4]) Ibid., 353 стр.

говорили они, „от башкирского воровства в слободах наших крестьян побито и в полон взято многое число, а иные крестьяне за разорением башкирцев разбежались в разные места, а в слободах у нас осталось самое малое число, и те скудны, и живем все от башкирцев в осаде с великим опасением, и на те твои государевы Каменские заводы, для заводских работ и управления, и никуда ездить мы не смеем“ [1]).

Так трудно давалась земледельческая и заводская культура на западной окраине Сибири: приходилось отстаивать русскую оседлость здесь с оружием в руках.

Вооружались не только заводы, но и крестьяне по своей собственной инициативе, выменивая продукты своего труда—хлеб—на ружья, составляя из самих себя отряды и выбирая начальников.

Не мало было хлопот русскому правительству с так называемыми „двоеданцами“. Это—те сибирские инородцы, которые жили „между нашим и китайскими государствами“ и, раньше состоя в китайском подданстве, затем переходили в российское. „Богдыхан“ однако не отказывался от своих прав на перешедших под русскую власть, стремился возвратить их, как это было, например, в 1751 г., когда китайское правительство требовало выдачи одного старшины Зенгорских калмыков вместе с сыном его, которые вступили в „русское подданство и еще прежде того“ вступили в китайское подданство и были поэтому „от богдыхана разными грамотами жалованы“. Русское правительство естественно не желало выдавать новых своих подданных. Но сами эти последние не прочь были вернуться в родную Монголию под свое прежнее подданство.

Так, колеблясь между тем и другим подданствами, эти пограничные народцы — зенгорские калмыки, урянхайцы, татары — попадали в очень двусмысленное положение и получали большие неприятности с обоих сторон, и с русской и с китайской. Русская сторона им не понравилась. Тогда самый зайсан Омба, выдачи которого требовало китайское правительство в 1751 году, вот что об'явил одному из русских агентов в 1748 году: „Нет ли у вашего государя богатых людей! А нищих обижают: как мои люди поедут на соболиный промысел, то их всегда около Колыванских заводов грабят и обижают; знаем и мы про то, которое дано добывать в горах: медь, золото и серебро, понеже наш прежний хан дал вашему государю письма; есть в нашей земле и не то, да не все отыщут“. И действительно, туземцы выставили

[1]) Jbid., 401 стр.

энергичное сопротивление русским рудоискатекям, направлявшим партии „рудоищиков" в эти пограничные с Китайским государством владения, которые в конце концов считали себя „неподсудными никому и жили собою". Так, например, в 40-х годах XVIII в. рудоискатель Петр Шелигин с партией в 120 человек рудоищиков ходил „для прииску руд" по реке Чулумшану в Зенгорское владение. Экспедиция была снаряжена „от порученной ея императорского величества бригадиру Беeру комисси". Когда эта экспедиция добралась до „бугров", очевидно до старых курганов, в которых русские рассчитывали найти древние золотые и серебряные вещи, то против рудоищиков вышла толпа зенгорских калмыков, человек в 400, и категорично им сказали: „Ежели вы станете бугры копать, то мы станем воеваться и по вас стрелять. Экспедиции, пожелавшей приложить свою энергию не туда, куда следует, пришлось возвратиться ни с чем: „поехали они оттудова в домы и бугров не копали". Вполне понятно, после этого, отрицательное отношение к русскому подданству тех пограничных инородцев, которые в него вступили.

Русские, на их взгляд, оказывались слишком притязательными. В русских форпостах жилось новым подданным худо, и они стремились в „Мунгалы". Это обстоятельство, а также то, что китайцы желали вернуть своих прежних подданных, и вырвало распоряжение русского правительства переселять „двоеданцев" на другие места—кого в Тару, кого в Омск, кого в Оренбург и на Волгу (зенгорских калмыков — для соединения с волжскими калмыками). Эти распоряжения еще более отталкивали двоеданцев от русского подданства, и правительству ничего не оставалось, как предписывать местной власти привлекать их в русское „подданство" „ласкательством". „Ласкательство", напр., было оказано калмыцкому зайсану Боохолу с его подвластными, который объявил себя в вечном подданстве ея императорского величества и пожелал жить обще с двоеданцами татарами и ясак платить против их"; но потом от того отвергся и вместе со своим кошем укрывался в горах. Из об'яснений самого зайсана Боохола, представленных им в письме, видно, что в горах укрывался он потому, что ему „угрожали и всякими побоями стращали, тож и с торгоутскими калмыками на Волгу взять неотменно хотели"... Кто же это „угрожали и стращали"? Состоящий в Бийской крепости торгоутский зайсан Наугита и регистратор Девятияровский,—вот кто действовал аггрессивно против недостаточно верноподданных калмыков, по показанию одного из их старшин. В союзе против

сомнительных подданных были представитель русской бюрократии и представитель того же калмыцкого народа. Союзники поступали энергично: они хотели и другому из двоеданских старшин, Намке Малаеву, „голову заширить и заковать в железа и везти в Торгоутскую землю"; Малаев испугался и дал союзникам 4 соболя, ценою в 40 рублей, „да корову с теленком, а прочие", прибавляет в своем письме жалобщик Боохол, „страха ради разбегались от Наугита и Девятияровского". Полковник Гарриг, улаживавший это дело, отнесся к потерпевшим милостиво, очевидно, исполняя предписание о привлечении к покорности ласкательством, — и укрывавшиеся от принятого подданства калмыки с их зайсаном Боохолом „себя подвластными об'явили". Из изложенного не трудно, впрочем, усмотреть, что не столько „русская ласка", сколько, в данном случае, вражда между отдельными калмыцкими кошами вызывало их подданство русской державе. Китайское государство, вероятно, было не в состоянии дать удовлетворение более слабой стороне в этой вражде и вытекавшей из нее борьбе, и потерпевшие тянулись под иное покровительство; но там встречали не то, что искали, и перешедшие на русскую сторону опять тянулись „в Мунгалы" — к богдыхану. Сверх того, и в русском подданстве продолжалась борьба между калмыцкими кошами, которая теперь осложнялась союзом калмыцкого старшины с русским чиновником, что еще сильнее отталкивало не вошедших еще в этот союз, но вступивших в русское подданство, отталкивало и от этого последнего, и от своей, крепче прилепившейся к нему, братии... „Мы того (т. е. переселиться на Волгу) не желали и обще с ними (торгоутскими калмыками) жить, по привычке нашей, не хочем, отчего и побег в горы учинили", сообщал в своем письме зайсан Боохол [1]). Но положение было таково, что волей-неволей приходилось мириться с русским подданством, дабы еще горше не потерпеть от тех своих сородичей, с которыми эти калмыки не хотели жить, но которые уже крепко опирались на местную русскую власть. В лице далекого, неизвестного, таинственного „ея (или его) величества" „двоеданцы", согласно с общим мировоззрением простонародья России, искали справедливости и защиты, как от своих, так и от чужих местных насильников, причем они не забывали и о прежнем подданстве, рассчитывая вернуться к нему, если не найдут правды и милости в новом. Таковы отношения между русскими и инородцами в Западной Сибири, отношения, которые иной раз обусловливались враждой и борьбой в

[1]) Материалы Г. Н. Потанина, стр. 1—100 и др.

среде самих инородцев. Эти отношения на крайнем северо-востоке Сибири были еще более острыми, борьба между русскими и инородцами была еще упорнее. Туда, в земли ламутов, коряков, юкагиров и даже чукчей, стремление русских усилилось после того, как в движении на Амур они были остановлены решительным отпором китайцев. Насколько стремление утвердиться в Камчатке и соседних с нею краях было сильно у русского правительства начала XVIII столетия, показывает следующий характерный факт. В 1711 г. одиннадцать казаков были снаряжены для разведок относительно морских жилых островов против устья реки Яны. Во время этой трудной экспедиции когда им, по их сообщению, приходилось есть „собак и всякую гадину", часть пионеров взбунтовалась и убила бывшего с ними приказчика вместе с его сыном и двумя его товарищми. После розыска об этом убийстве признанные виновными в нем, коих оказалось пять человек, были приговорены к смертной казни, и двое из них, Ларион Хвостов и Василий Кисикеев, были „повешены при многих людех"; что же касается остальных трех (Гаврил Ферапонтова, Алексея Дементьева и Егора Хвостова), то они по их челобитью, были помилованы,—т. е., вместо смертной казни, их было повелено прежде всего „нещадно бить кнутом", а главное, по исполнении экзекуции, послать „для проведывания чрез Ламское море камчацкого пути и те свои вины заслуживать без жалованья" [1].

Ясно, что это „расведывание" было очень желательно, ибо оно сулило приобретение новых промыслов и вело к более прочному закреплению за „государем" ясачников в этом крайнем северо-восточном углу Азии. Между тем, как раз здесь жило население, очень ревнивое к своей независимости и не желавшее поступиться своими землями, промыслами и результатами своего труда в пользу пришельцев и какого-то далекаго от них, почти мифическаго „белого царя". Это с самаго начала было замечено русскими и прежде всего первым покорителем Камчатки Атласовым, которого не даром считают Ермаком Камчатки и который, так же, как и покоритель Западной Сибири, в 1711 году погиб в покоренной им стране в тяжелой борьбе с восставшими против русского владычества туземцами. Борба на северо-востоке Азии с покоренными раньше, а потом поднимавшимися коряками, ламутами, юкагирами, чукчами, в особенности борьба на Камчатке продолжалась и дальше в XVIII стол. и достигла такого напряжения,

[1] Памятники сибирской истории, II, стр. 1—20.

что в 1731 г. поднялось все камчатское население. Туземцы „вызнали огненные бы“ и действовали сообща, дружно. Русские поселенцы в Камчатке были отрезаны от Якутска, и правительство целые 7 лет не получало ясака от камчатских туземцев, вследствие чего начинались поиски в Камчатку морского пути. С большими усилиями, со множеством жертв камчатское восстание было подавлено, но оно, будучи прямо залито кровью, показало воочию, как туземцы Сибири дорожили своей свободой, как отчаянно они за нее боролись много лет спустя после того, как русское правительство зачислило их в свои холопы, в государственные рабы. Когда восстание на Камчатке было подавлено, то, повидимому, многие камчадалы, не желая быть рабами русских, прибегали к самоубийству. Распространение этого способа покончить с неволей, надо полагать, и послужило поводом для правительства дать Берингу повеление наблюдать во время его экспидиции за камчадалами, между прочим, и для того, чтобы они „сами себя не умерщвляли“[1]).

Зная всеобщее недовольство сибирских инородцев, будучи принуждено то-и-дело подавлять восстания их то тут, то там, административные власти Сибири были весьма мнительно настроены по инородческому адресу и готовы были видеть „измену“ всюду, —иногда, может быть, и без достаточного основания. В этом отношении очень любопытно дело, возникшее в начале XVIII столетия по обвинению остяков в предполагавшейся с их стороны „измены“. На двух остяков, Алешку и Алму Васкиных, был сделан донос, что „есть де в них шатость в изменном деле“ и что „для той же измены и шатости“ они „отдали“ лосминским остякам Чердынского уезда „жонку убить на жертву шайтану“. Начался розыск, во время которого Алма Васкин покончил самоубийством, „посек себя по горлу топором до смерти“. Розыск, однако, и кончился только этой жертвой. Никакой „измены“ не оказлось; „в допросе все князцы“ остяцкие и лучшие люди сказали: шатости и измены ни за кем не знают и за ними де нет“ и уверили, что они рады по прежнему служить великому государю и платить ясак; после этого заверения „князцы и лучшие люди“ были приведены березовским воеводой „по их вере“ к шерти—присяге; тем дело и кончилось[2]). Оно характерно именно как проявление особенной боязни русских властей в Сибири, как бы инородцы не затеяли „измены“, — боязни, разумеется, не безпричинной, — воспитанной

[1]) Соловьев. История России, 20 т., стран. 352.

[2]) Памятники сибирской истории, I, 320-326.

постоянными восстаниями сибирских инородцев в предшествующее рассказанному случаю время.

Продолжаясь долго и после того, специально инородческие восстания в Сибири не были, однако, единственными народными движениями на этой громадной территории. Нет, известно, что в Сибири было много таких условий, особенно в сфере управления этой колонией, что и русским простым людям, многие из коих шли сюда волей для лучшей жизни, жилось в Сибири плохо, ибо они попадали здесь на казенные пашни, значит, всецело в лапы сибирских чиновников. Сверх того, в Сибири были начаты горные промыслы, основаны заводы на невольном труде преступников и не преступников, потом не менее насильственно приписанных в работу к заводам. Этого было достаточно вполне, чтобы дело колонизации Сибири не обошлось без движений против властей и со стороны русских. И вот, действительно, в царствование Елизаветы Петровны крестьяне Ялуторовского уезда отказались от казенной пахоты и не пожелали снимать казенного хлеба. Послана была команда с прапорщиком во главе для „увещания" крестьян; прапорщик приказал хватать зачинщиков, но крестьянам такое „увещание" не понравилось; они бросились на команду с дубинами, —некоторые, впрочем, имели и ружья со штыками—и рассеяли воинство, причем прапорщик получил удар дубиной по лицу. Сельское духовенство было заодно с крестьянами. Дьякон, выйдя из церкви от заутрени и поощряя крестьян на бой, кричал: „Зло злом искоренять надо!"... А поп Иосиф пустил крестьян на колокольню, чтобы бить в набат, говоря, что колокольня крестьянская, ибо выстроена их руками. Конечно, наказание было строгое: пущие заводчики из крестьян были биты плетьми и сосланы в нерчинскую каторжную работу. Но тем не менее сенат, постановив это и сообщив о духовных лицах, замешанных в возмущении, в синод, поставил также пред сибирским губернатором вопрос с приказанием его рассмотреть; „удобно ли иметь пахоту земель или вместо того оброчный хлеб сбирать с крестьян?"[1]).

Трудный вопрос задавала правительству жизнь и на Уральских заводах, постоянно в XVIII стол., особенно в Елизаветинское царствование, потрясаемая движением приписанных к заводам крестьян и горнозаводских рабочих,—движениями, тоже заслуживающими быть отмеченными в сибирской истории. Эти движения сделались ко времени Екатерины II хроническим явлением. Не даром эта императрица впоследствии указывала, что при вступлении

[1]) Соловьев, История России, XXIV, стр. 364.

ее на престол „заводские и монастырские крестьяне почти все были в явном непослушании властей“... Этим явным непослушанием, практиковавшимся исстари, и об'ясняется участие горнозаводских крестьян и рабочих западной окраины Сибири в Пугачевщине.

Пугачевщина захватила и часть Сибири, и в этом широком народном движении участвовали вообще нисшие, обездоленные слои населения, руководимые во многих местах представителями нисшего, сельского духовенства. С самого начала XVIII стол. в Западной Сибири нарождалось что-то в роде пролетариата, не без содействия этому явлению от того разорения, которое причинялось русским башкирскими набегами; акты свидетельствуют, что между дворами скитались „нищие и убогие, которым пить и есть нечего“. Все эти бездомные скитальцы, число которых в царствование Екатерины II сильно возросло, конечно, тоже приняли участие в пугачевском движении. Приняли в нем участие и инородцы, в том числе и башкиры, столь энергично боровшиеся против русских за свои исконные земли, столь много причинившие зла и сельскому русскому населению, пашня которого, взрывавшая их степи, была ненавистна вольнолюбивому башкирскому народу. Но в такой момент, как пугачевщина, башкиры поднялись против русского правительства и администрации из своих политических и социальных побуждений, противоречивших интересам русской, в том числе крестьянской колонизации; при Пугачеве они поднялись заодно с обездоленным русским населением, боровшимся за свои социальные, а не за политические интересы. Действительно, там, где русское население вело сравнительно сносную материальную жизнь, оно не только отказалось от пугачевцев, но даже выставило им упорное сопротивление; таковым местом была, напр., Ирбитская слобода, ярмарка которой, начавшая со второй половины XVIII стол. удовлетворять преимущественно потребности увеличивающегося с каждым годом населения Сибири, приносила жителям Ирбита известное материальное благосостояние. Ирбитцы так стойко боролись с пугачевцами, что заслужили особенное благоволение Екатерины, и это обстоятельство не осталось без благоприятных последствий для дальнейшего развития Ирбитского ярмарочного торга. Здесь довольно указать на ближайшее условие, содействовавшее означенному развитию, это—производство Ирбитской слободы в город, с припиской к нему уезда, по указу от 13-го февраля 1775 г. [1]).

[1]) Пермск. Сборн., 11 кн., 6—8.

Переходя к вопросу об отношениях между русскими и инородцами, следует вообще сказать, что если во многих случаях на почве разницы политических и экономических интересов между русским и инородческим населением возникала кровавая борьба, то, с другой стороны, замечается, что на самом низу социальной лестницы, у простого русского народа и инородцев, по прежнему, как и в XVII столетии, возникало обоюдное сближение, выражавшееся в смешанных браках и превращавшее часто не столько инородцев в русских, сколько русских в инородцев. Так еще Татищев указывал, что в его время в Томском крае Западной Сибири были очень нередки обоюдные браки русских с татарами, киргизами и калмыками, почему население получалось смешанной породы, с сильным наклоном в инородческую сторону, — „природы", говорит Татищев, „калмыцкой, татарской и киргизской". Известны и другие факты подобного смешения: так, напр., в 1775 году с иркутского тракта были переведены в область г. Якутска крестьяне; переженившись на якутках, они через некоторое время сами превратились в якутов, т. е. переняли язык и все обычаи своих инородческих жен. В отдельных случаях и купцы и чиновники, не исключая и высших, понятно, не брезгали инородческими женщинами, но сейчас я подчеркиваю общее явление, возникшее еще в XVII стол. и продолжавшееся (несмотря на затянувшуюся борьбу инородцев с русскими) развиваться и в продолжении XVIII столетия, да и позднее: это—массовое во многих местах Сибири—и Западной и Восточной—физиологическое сближение русских и инородцев, давшее в результате особый антропологический тип русского населения Сибири.

Отмеченный сейчас факт в истории организования сибирского населения несомненно повлиял на создание и своеобразного его психологического типа, в создании коего имели значение и другие факторы. В числе этих факторов имели большое значение: 1) колонизация Сибири посредством ссылки туда преступников и 2) продолжительная правовая борьба в Сибири русского и инородческого миров, о которой была речь выше и которая под разными другими видами, в особенности под видом спаивания инородцев своеобразными русскими культуртрегерами, продолжалась очень долгое время. Это главнейшие факторы. Они, а также влияние сурового климата и мрачной природы и не менее, чем климат, суровой сибирской администрации, и не менее мрачной, чем сибирская природа, деятельности этой администрации вложили в психику сибиряка много жестокости, грубости и моральной

разнузданности,—черты, на которые указывали сторонние наблюдатели сибирской жизни XVIII столетия. Эта жизнь поражала своею дикостью не только в слободах, селах и деревнях, но и в городах, во многих отношениях ничем не отличавшихся от слобод и сел, кроме размеров и своего назначения быть опорными пунктами русского владычества, центрами административного управления, местами пребывания чиновников и военных команд. Население сибирских городов было малочисленно. Даже в Тобольске, „столице Сибири", по сведениям Лепехина, было всего 6663 человека муж. пола, в том числе—75 духовных, 102 штатских, 2069 купцов, 668 посадских, 168 рабочих и поденщиков, 2119 служащих в трех батальонах, 158 артиллеристов, 173 военных малолеток и 600 татар; по сведениям того же старого путешественника, в Тюмени—3314 человек муж. пола. В Енисейске, по третьей ревизии, считалось 4000 муж. пола. Также плохо были населены и остальные сибирские города. В самом „большом" из них—Томске—число жителей обоего пола на достигало 8000; в другом „большом" городе—Иркутске—„жителей было не более 7000" [1]). Сибирские города поражали заезжего человека, особенно иностранца, своею некультурностью: они были построены без всякого плана и крайне грязны. В таком характере городов как нельзя лучше отражалась некультурность самого жившего в них; русско-сибирского общества. Как для Европейской России, так и для Сибири Екатерининская комиссия Нового Уложения очень многое выяснила касательно вопроса об общественных отношениях, об умственном и моральном состоянии разных классов и разрядов населения. „Наказы", с которыми сибирские депутаты явились в большую комиссию, наглядно показали Екатерине II, с кем она „дело имеет" и „о ком" ей „пещись должно" в Сибири. Взору государственного человека, как и взору наблюдателя-путешественника в Сибири, открылась неприглядная картина соперничества между городами и классами из-за материальных интересов, картина самого грубого своекорыстия, не останавливающегося ни перед чем, даже перед просьбой о введении крепостного права, о том, чтобы законом было санкционировано кабальное холопство детей нищих, якобы, как воздаяние владельцу за воспитание этих заброшенных детей. Если один город просил себе сепаратных прав, вредящих интересам другого (в чем справедливо видят отголосок старой

[1]) П. Головачев, Сибирь в Екатерининской комиссии, подробности см. на стр. 22—26.

борьбы между ними из за об'ясачивания инородцев в XVII веке [1]); если купцы хлопотали о „неограниченной монополии", требуя устранения от торговли всех, не принадлежащих к их сословию, то, само собой разумеется, нечего и ждать от русских какого либо иного отношения к инородцам, кроме прежнего—хищнического. В большинстве своем сибирские инородцы и в этот знаменательный момент в истории Российской Империи, в момент созвания уложенной Комиссии, остались за флагом попечительности петербурского правительства. Большинство их, и при том народцы, самые значительные и по числу и по промыслам, не были оседлыми, а представительство в Комиссии было установлено только для оседлых, иногда по своему количественному и качественному убожеству и неспособных воспользоваться предоставленным им правом. При невнимательном отношении к сибирским инородцам самого правительства, удивительно ли, что русско-сибирское общество смотрело на них по-прежнему, как на об'ект только наживы. Поэтому для тех из них, которые, как пленники, попали в рабство, наказы стремятся на вечные времена сохранить это состояние. Вообще, рабство инородцев могло лишь еще более воспитать в русско-сибирском обществе крепостнические тенденции, присущие ему вместе с соответствующими классами Европейской России, [2]) и сделать его еще более грубым. При таком „умоначертании", „дикие нравы" русско-сибирского населения были вполне естественным явлением. Эти нравы нам отчасти уже известны по сделанным раньше справкам о купеческих привычках и поведении, по достоинству осужденных тогда же соседями китайцами. Путешественники Гмелин и Паллас свидетельствуют о той же дикости, которую забраковали китайцы. Пьянство, разврат, всякие дебоши—вот чем главным образом характеризуется быт городского общества всего XVIII века, и с этим печальным характером оно переходит в XIX-ый. Постоянное пьянство, которым прославилось русско-сибирское общество, не могло сильно отражаться на его экономическом состоянии, ибо предметы первой необходимости в Сибири были необыкновенно дешевы. Путешественники поражались этой дешевизной: „ни в которой части Российского государства", пишет Паллас, „земные продукты так дешево не находятся, как здесь. Едва можно поверить, если скажу, что, как я

[1]) Головачев, Сибирь в Екатерининской Комиссии, 30; см. в этом сочинении подробности о мнениях, выраженных в депутатских наказах.

[2]) Известно, что даже декабристы имели крепостных слуг, и слуга декабриста Лунина был продан с аукциона вместе с разной рухлядью на Нижегородской ярмарке (П. Головачев, Декабристы, стран. 135).

туда приехал, в городе ржаной муки пуд по 2 коп. 5 денег, пшеничной же по 4 коп. с деньгою, мясо от 15 до 25 к. пуд, а целого быка за 1½ руб., корову за рубль, рабочую лошадь за 2 руб., за 3 достать можно" [1]). Дешевизну хлеба и хмеля Паллас ставит в связь с вечно „веселеньким" состоянием сибиряка: поневоле сделает он „бражку и выпьет". То „всегдашнее" состояние Тобольских жителей, inter poeula, которое отмечает Гмелин, было, в сущности, коренным „бытовым явлением" в Сибири, но в тогдашней „столице" ее оно наиболее бросалось в глаза путешественникам, в том числе известному Шаппу, который в своем „Voyage en Sibérie" свидетельствует: les hommes sont extrêment jaloux à Tobolsk; ils restent cependant peu avec elles (женами), ils passent la plus grande partie de la journée à boire et rentrent chez eux communément ivres" [2]). С пьянством рука об руку шел разврат. Последнему содействовал кочевой образ жизни, какой вели в Сибири многочисленные купцы. Они всюду раз'езжали, ища добычу то тут, то там и, будучи без жен, „прельщали женщин на блуд, обещая пойти в супружество", но по своему купеческому обычаю, конечно, обманывали „прельщенных"; вследствие чего Сибирь кишела так называемыми „незаконнорожденными", и в ней совершалось, по свидетельству митрополита Филофея, „огромное количество детоубийств" [3]).

Лучшим элементом русско-сибирского общества, разумеется, было грубое, некультурное и угрюмое, но закаленное невзгодами и трудолюбивое большинство земледельческого населения—крестьянство—сельчане и горожане; последние тоже, за исключением немногих купцов, занимавшихся торговлей и имевших кое-где мыльные и кожевенные заводы, занимались хлебопашеством [4]). Худшими элементами были слои, лежавшие выше этой основы сибирской колонизации—чиновники и купцы. О чиновниках было говорено уже достаточно: самое их положение в Сибири увлекало их во многие излишества. Что касается купцов, то наиболее капитальным из них многое можно было позволить себе в Сибири, опираясь на власть денег, подчинявшую своему затягивающему влиянию и предержащие сибирские власти. Эпические картины сибирского разгула и разврата в этих высших слоях, начавшись в станах первых представителей „первоначального накопления", в

[1]) Цит. по П. Г. Головачеву (Сибирь в Екатерининской Комиссии, стр. 25).
[2]) Тоже, стр. 23.
[3]) П. Головачев, Сибирь в Екатерининской Комиссии, стр. 43.
[4]) Лепехин, III, стран. 6.

станах „добрых молодцев“ и промысловщиков — землепроходцев XVII века, пронеслись затем через все XVIII столетие, оставшись заманчивыми и для позднейших поколений верхов сибирского общества. Но и в низах его было не вполне благополучно. И здесь был разгул, разврат и их спутник—страшная болезнь. „Ein Kerl“, пишет путешественник первой половины XVIII века Гмелин о жителях Томска, „имеющий только 4 к., тратит из них 2 к. на девок, 1½ к. на водку, а остальные на еду“. „В каждом доме,—прибавляет он, есть сифилитик“. Вот ужасный подарок, который русские принесли сибирским инородцам,—подарок, от которого совсем не поздоровилось туземцам... Положение большинства их вообще было очень тяжелое, подчас невыносимое. В некоторых местах инородцам приходилось очень голодать, и бывало, что иные из них прибегали, повидимому, даже к людоедству [1]).

Если физическому здоровью инородцев наносился непоправимый вред распространением среди него сифилиса и пьянства, то и для психики этого населения едва что хорошее могло дать насильственное распространение среди него христианства, тем менее, когда представителями этой религии являлись такие лица, как тот православный поп, которого в 1731 г. богдыхан приказал заключить в кандалы, а потом выгнать из Пекина: по донесению русского архимандрита Антония из китайской столицы, этот поп „бесчинно“ пьяный бегал за школьниками по двору, „а ему, архимандриту, плюнул в глаза и, сверх того, еще ножом проколол руку“. Таким образом, и на русском духовенстве в Сибири не отдыхает взгляд наблюдателя; и из этой среды, как будто бы по профессии обязанной быть высоко-нравственной, не изливалось на сибирское русское и инородческое общество живительных лучей достойной подражания, истинно-человечной жизни. Пример такой жизни в темном и грубом сибирском обществе подали не эти люди, не представители религии, хотя бы и христианской, а совершенно другие,—те самые, которые не на словах, а на деле были способны всецело, до тяжких страданий и полной гибели,

[1]) По крайней мере, вот какое показание сделал русским властям один спасшийся от своего господина холоп-бухарец: „жил он в холопстве у урянхайца Убана 7 месяцев; и от него, Убана, бежал, по худому у них житью, а паче опасаясь, что они варят в котлах под скрытом *человечьи тела,* а какие оные тела, заподлинно хотя и не знаю, только, как не видя взятых обще с ним 2 баб, о которых они об'явили, яко бы они бежали, *только тому статься нельзя,* чтоб бежали, ибо платье с них было у них, а их нет, почему он *надежно положил,* что они убиты, и *по претерпению, по неимению у них пищи, крайнего голода, с'едены* („Материалы“ Г. Н. Потанина, стр. 112).

посвятить себя служению высшим интересам родины и ее народов, те самые, один из коих сказал:

„Моя душа до гроба сохранит
Высоких душ кипящую отвагу;
Мой друг, не даром в юноше горит
Любовь к общественному благу".

Сказал и умер на виселице, как бы предсказав себе эту участь устами своего героя:

„Погибну я за край родной
Я это чувствую, я знаю,
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю".

Служение „общему благу" продолжали товарищи этого человека в Сибири.

VII.

Русские нашли в Сибири три религиозных мировоззрения: шаманизм, буддизм и ислам. Последние два имели успех преимущественно в южной части Сибири, давно здесь распространенные из центров, не вошедших в состав сибирских владений России. Китайское влияние было довольно сильным. Когда однажды некоторые декабристы, кн. Волконский и Вадковский, играли в шахматы в присутствии якутов, то они заметили, что те сознательно следили за игрой; далее обнаружилось, что игра им прекрасно знакома и что она перешла к ним из Китая [1]). Вместе с подобными занятиями переходили и религиозные верования, что было тоже проявлением влияния более культурных народов.

Буддизм насаждался главным образом в Восточной Сибири, в Забайкальском крае, ислам—среди татар, башкир, киргизов. Эти народы и сделались наиболее культурными из всех сибирских инородцев: ламы и муллы много поработали для того, чтобы соответствующие религиозные мировоззрения окрепли в среде означенных сибирских инородцев. Бороться с представителями буддизма и ислама, пользовавшимися уважением и популярностью в тех местах, где они поселялись, было совершенно не под силу представителям русского духовенства, не отличавшимся в Сибири особыми достоинствами; почему христианство распространялось преимущественно среди северных, менее культурных инородцев—

[1]) Записки Розена, 162.

язычников-шаманистов, которых в Сибири было большинство [1]). В эпоху Петра Великого на поприще обращения остяков и вогулов в христианство выдвинулся сибирский митрополит Филофей Лещинский, блаженный схимник Феодор. Он стремился действовать мирными средствами — проповедью и подарками. „Ныне," писал он енисейскому коменданту, „по прибытии нашем в Енисейск, на раздачу иноземцам, которые будут креститься, надобно 2,000 арш. холста, 1.000 крестов медных и оловянных, також тканцу нитяного, 60 пуд. соли" [2]).

В большинстве же случаев крещение инородцев было лишь средством через то удержать их в зависимости. Как пленников крестили, „чтобы сделать невозможным их освобождение", [3]) так „двоеданцев" для того, чтобы укрепить в подданстве. [4])

Разумеется, новые православные христиане являлись таковыми только по имени. Да и нельзя было бы и ожидать истинного христианства среди сибирских инородцев, когда сами русские, не исключая и большинства священнослужителей, как свидетельствуют исторические документы, были очень далеки от истинного христианства. Стоит, например, ознакомиться с делом томского сына боярского Феодора Протопопова, которому одною матерью была заложена дочь, им и его слугами подвергшаяся жестокому истязанию с вырезыванием сосков и убитая,—чтобы совершенно и не поднимать этого вопроса об истинном христианстве в Сибири [5]).

Имеется указ от 1722 г. о воспрещении питейной продажи и народных игр при монастырях и церквах ранее окончания литургии и крестных хождений по случаю храмовых праздников,— указ, адресованный в Тобольскую провинцию губернатору кн. Черкасову с товарищами. Из этого указа мы узнаем, что „многие

---

[1]) Шаманы, впрочем, как известно из 1-го выпуска „Чтений", производили сильное впечатление и на русских в XVII столетии; но справедливость требует сказать, что такое впечатление не ограничилось той отдаленной порой, а продолжало обнаруживаться и много позднее, даже в XIX стол., и его даже не избежали люди из просвещенной группы декабристов, очевидно, наиболее мистически настроенные. Так, декабрист Черкасов проникся глубокой верой в сибирских шаманов: по его мнению, им были известны тайны, сокрытые от всех (П. Головачев, Декабристы, 260 и 261).

[2]) Памятники сибирской истории XVIII века, II, 210 стран., указ 1719, марта 17.

[3]) Шишков, Исторические этюды, II, стран. 113.

[4]) „Материалы" Г. Н. Потанина, стран. 97, 103, 106, 108, 110.

[5]) Томский сын боярский Феодор Протопопов, материалы для истории Сибири, изд. Кузнецова-Красноярского, 1891.

во дни крестных ходов на праздничные места приходят не толико для богомолья, елико ради прогулу и кулашных боев смотрения, а иные для безмерного пьянства многим злым виновного, и в каких случаях немалые бывают непотребства" [1].

Таковы христианские примеры, подававшиеся в храмовые христианские праздники русскими инородцам при монастырях и церквах. Инородцев к тому же не всегда обращали мирными путями, а чаще принуждали силою перейти из язычества в христианство, особенно в царствование Елизаветы Петровны. Насильственное обращение однако не оправдывалось даже заботами о вновь приобретенной пастве со стороны церковнослужителей. Это видно из того, что в 70-х годах XVIII века Екатерине II, сказавшей в своих законодательных актах много хороших слов в защиту сибирских инородцев, приходилось издать указ, в котором было об'явлено о возмутительном вымогательстве священником Марковым денег с одного остяцкого князца. Случай был не совсем обыкновенный, ибо вымогательство кончилось самоубийством князца: „...князец Киштеев, видя от свящ. Маркова наглое себе нападение и убоясь платежа, а особливо, что по принуждению священника Маркова и обязательство на себя дал, то почитая себя несостоятельным, приехав в дом свой, поблизости юрты и избы своей 28-го апреля удавился" (1771 г.) [2].

Отсюда вполне понятен в деле распространения христианства тот итог, на который указывают позднейшие наблюдатели сибирской инородческой жизни, „Остяки, пишет один из них, „окрещены 150 лет назад, но руководствуются внешними обрядами и иконы лежат в заднем углу или под лавкой и вынимаются в редких случаях при приезде священника". Справедливо и замечание Щапова: „Это наружное принятие русской веры не приносит им (инородцам) пользы, не просвещает их действительно и существенно". Разумеется, одною из причин того, что христианство не изменило языческого мировоззрения сибирского инородца, была некультурность нашего сибирского миссионера, на что указывает Ядринцев [3], но более глубокими причинами этого явления следует признать государственное порабощение инородца и невысокую степень культурности всего жизненного уклада, заведенного русскими в Сибири, отсутствие в нем даже примитивного альтруизма.

---

[1]) Памятники сибирской истории, II, стран. 411—414.

[2]) Архив аскинской степной думы, Кузнецов-Красноярский, 1892. Томск, стран. 2, 23.

[3]) Сибирь, как колония, стран. 176.

Из всех элементов русского населения, рассматривая его с культурной точки зрения, в XVIII столетии, как и в XVII, самым идейным были раскольники. Неудивительно, что раскол начал делать в Сибири настолько значительные приобретения среди русского населения, что указом 1722 г. ссылка раскольников в Сибирь была приостановлена [1]). Впоследствии раскольников продолжали ссылать в Сибирь, и именно раскольниками в этой стране были созданы такие поселения, от которых приходили в восторг позднейшие наблюдатели, например, декабрист Розен, немало говорящий в своих записках о трудолюбии, чистоплотности и зажиточности раскольничьих сибирских сел. Это были светлые точки на темном фоне сибирской жизни. В предшествующем изложении мы старались нарисовать общую картину, которая неизбежно выходила мрачной, ибо такова в общем была сибирская жизнь; но в ней, как и во всякой человеческой жизни, даже самой темной, по временам прорезывались лучи света. Так, несомненно луч света полился из частных школ, которые начали заводить в Сибири пленные шведы. Правительственные школы начали учреждать в Сибири не ранее половины XVIII стол., но они мало приносили пользы сибирскому населению, и вообще, как справедливо замечает Ядринцев, „дело шло медленно и туго". Сперанский со своим другом Словцовым двинул это дело вперед, но после них оно опять пошло на убыль, стало глохнуть и, как говорит тот же знаток Сибири, Ядринцев, „получило безжизненный казенный характер" [2]). Много лучей света полилось на темную сибирскую жизнь, когда в нее принуждены были войти участники освободительного движения александровской эпохи, так называемые декабристы. Они были рассеяны по многим городам Сибири. По отбытии каторги, декабристы жили в Селенгинске, Минусинске, Иркутске, Тобольске, Кургане, Ялуторовске, Чите, Таре и других городах. Но где бы они ни поселялись, они повсюду проявляли себя, как высоко-культурные люди, для которых духовная пища не менее физической—насущная необходимость. Отсюда—те курсы, которые читались наиболее подготовленными декабристами для своих товарищей, жаждущих пополнения своих познаний: князь Одоевский читал лекции по истории русской литературы, начиная свой обзор со „Слова о полку Игорове, П. А. Мухонов—по русской истории, князь Оболенский прочитал общий курс истории философии. Курсы читались во время проживания декабристов в Петровском

[1]) Памятники сибирской истории, II, стран. 414, 415.

[2]) Сибирь, как колония, стран. 558.

заводе, и это научно образовательное предприятие они, шутя, называли Петровской Академией. Здесь Якушкин составлял учебник по географии, придумав для того новый, свой собственный план. Вследствие энергичной творческой и самообразовательной работы декабристов обстановка и Читинского острога явилась благоприятной для их умственного развития и дальнейшей общественной работы на пользу сибирского общества. Так декабрист Свистунов был обязан своим разносторонним образованием проживанию среди просвещенных своих товарищей в Чите и Петровском заводе, и впоследствии его дом в Тобольске явился центром, об'единившим значительную группу тобольских декабристов, тем более, что Свистунов тогда получал множество русских и иностранных журналов. Немудрено, что, энергично и умело приспособляясь к сибирской жизни, становясь хорошими ремесленниками (напр., кн. Оболенский, женившийся на вольноотпущенной одного чиновника, был хорошим закройщиком), но продолжая также идти вперед в умственном отношении и приступив к чисто культурной работе на тех местах, куда их бросила злая судьба, декабристы везде оставили глубокий след, оказали значительное влияние на общество. Заводя в некоторых городах школы [1]), они были сильны не этим только стремлением перевоспитать сибирское общество путем школьной учебы,—они были сильны всем своим психологическим обликом и тем житейским примером, который являла их полная гуманности, самоотвержения и истинно-христианского, альтруистически настроенного сознания жизнь. В Петровской тюрьме „были собраны люди", пишет декабрист Беляев, „действительно высокой нравственности, добродетели и самоотвержения" [2]). Они-то и были настоящими пионерами сибирской интеллектуально-моральной культуры, заложившими ее здоровые традиции; они-то и были духовными отцами будущей сибирской интеллигенции. Декабристу же, только тогда тоже еще будущему, сибирская интеллигенция обязана первыми побегами масонства, этого оформленного порыва к идеалу в личной и общественной жизни. В 1818 году Батенков, впоследствии за свою причастность к декабрьскому

[1]) Так Якушкин открыл в 1842 г. (6-го августа) образцовую школу в Ялуторовске, причем преподавание в ней шло под непосредственным руководством самого ее основателя—по ланкастерскому способу. Уже в 1846 г. в школе было до 200 учеников. Успех школы был так велик, что ей покровительствовала даже тобольская администрация, а самого Якушкина он поощрил к учреждению в 1846 году (в память умершей в этот год его жены) школы для девочек, первой женской народной школы в Сибири.

[2]) Головачев, Декабристы, стр. 67.

делу попавший не в сибирские рудники, а в Шлиссельбург, основал в Томске (вместе с генерал-майором фон Трейблютом) местную ложу Восточного Светила. Словом, ссылка по декабрьскому делу дала Сибири группу ее истинных цивилизаторов, которые не могли не обратить на себя внимания даже таких путешественников по этой стране, как Гумбольдт [1]). Самое появление декабристов в Сибири производило здесь сильное впечатление и на русских и на инородцев. Розен рассказывает, что „повсеместно" от Тобольска до Читинского острога русское население принимало их „отлично и усердно". Встречавшие этих „несчастных" жители „навязывали будки на сани, укутывали" их „чем могли, и провожали с благословлениями; иные шепотом говорили: „Вы наши сенаторы, зачем покинули царя и Россию?". Очень интересовались этими ссыльными и буряты, особенно Луниным, который, страдая старыми боевыми ранами, ехал в закрытой повозке и потому считался бурятами главнейшим преступником. Лунин долго не показывал себя, но, наконец, решил познакомить с собой любопытных бурят. Он спросил через переводчика, что им надо, и узнал, что они „желают его видеть и узнать, за что он сослан?" „Знаете ли вы вашего тайшу, т. е. местного начальника бурят?" спросил Лунин. „Знаем", отвечали те. „А знаете ли вы тайшу, который над вашим тайшей, и может посадить его в мою повозку и сделать ему угей (угей—конец)?" Знаем. „Ну, так знайте, что я хотел сделать угей его власти, вот за что я сослан". „О! О! О!— раздалось в толпе", рассказывает Розен, „и с низкими поклонами, медленно пятясь назад, удалились дикари от повозки и ее хозяина" [2]).

Даже далеко не сентиментальных сибирских чиновников поражали прибывшие ссыльные, особенно то обстоятельство, что за некоторыми из последних добровольно следовали их жены, оставившие все преимущества их прежнего положения и прошлой жизни в России. Так, тот же Розен рассказывает, что почтмейстер одного городка, принявший сначала Розена за губернатора, когда узнал что это не губернатор, а ссыльный, убедительно просил Розена и его супругу остановиться в его доме для спокойного отдыха. Введя ссыльного декабриста с женой в покои, почтмейстер

[1]) Во время представления императору Николаю I Гумбольдт довольно прозрачно похвалил декабриста Семенова, как высоко-образованного человека, но похвала знаменитого ученого весьма печально отозвалась на судьбе Семенова: было приказано определить его на службу в отдаленнейших местах Сибири без права выезда. (П. Головачев, Декабристы, 228).

[2]) Записки, 143, 162.

просил позволения представить свою жену, а когда его супруга, „молодая и миловидная", вышла, то почтмейстер" взял ее за руку и, указав на жену Розена, сказал своей супруге прерывающимся голосом: „вот, друг мой, прекрасный и высокий пример, как должно исполнять священные свои обязанности; я уверен, что ты в случае несчастия со мной будешь подражать этой супруге" [1]).

И вообще много примеров для подражания дали сибирякам декабристы и их жены своею жизнью; самопожертвование женщин-героинь, как княгини М. Н. Волконская и Е. И. Трубецкая, К. П. Ивашева, А. Г. Муравьева, Е. П. Нарышкина, А. В. Ентальцева, Н. Д. Фонвизина, Д. М. Давыдова, П. Г. Анненкова, производили необычное, совершенно новое и тем более потрясающее впечатление на сибирское общество, погрязшее в самом грубейшем эгоизме. Однако несмотря на этот эгоизм и многие другие отрицательные черты, коими характеризуется это общество, в нем, конечно, были и живые, здоровые силы, которых не могли не привлекать столь очевидные, в глаза бившие примеры твердости, мужества и героизма, не могли не пленять многие, по истине пленительные характеры декабристов и их жен. Едва-ли кто из них не заслужил любви и уважения в том обществе, среди которого они жили в Сибири. Так, например, относительно Бестужева-Марлинского известно, что он был общим любимцем в Якутске, начиная от губернатора и кончая последним якутом. И русские и якуты постоянно выказывали свою симпатию этому новому своему гражданину и не на словах только, а и на деле, давая ему лошадей для поездок на охоту или в леса „к близ лежащим якутским юртам". Якутскою жизнью Бестужев был заинтересован ближайшим образом: он наблюдал нравы якутов, набрасывал рисунки их быта и мечтал даже „конец своей жизни посвятить изучению языка якутов и тем этнографическим вопросам, которые с их бытом связаны [2]).

Не все декабристы были так благодушно настроены по отношению к сибирскому обществу, как б. Розен; таким людям, как Бестужев-Марлинский, было трудно жить в обществе, о котором он писал: „у здешних жителей нет ни добродушия, ни одной благородной черты в характере, и делать зло, чтобы показать, что они могут что-нибудь делать, есть их первое наслаждение [3]). И

---

[1]) Записки, 192.

[2]) Н. Котляревский, Декабристы, кн. Одоевский и А. Бестужев; стр. 160 и 161.

[3]) Ibid., стран. 155.

если такие люди приобретали расположение местного общества, то это делалось помимо их желания, в силу обаятельности их личности, покорявшей даже такого сорта общество. Таким людям поневоле приходилось возлагать всю надежду на культурную работу на пользу этого общества, на пользу и живущих с ним бок о бок инородцев, дабы сохранить свою личность от загрязнения повседневным сором сибирской жизни. В стихотворении своем „В Сибирь" наш величайший поэт Пушкин, не состоявший в тайном обществе, но оказавший на декабристов глубокое духовное влияние своими произведениями, в особенности стихами, ходившими в рукописях и найденных „в бумагах каждого" из участников движения [1]), говорил им, между прочим, следующее:

„Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье—
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье",

Терпение было необходимым для этих людей и тогда, когда они вышли из „глубины сибирских руд" и погрузились в глубину жизни сибирского общества. И в этой глубине их спасал их „труд", и он, а равно и „дум высокое стремленье" не пропали для жизни приютившего их общества [2]). Вот почему это общество, как бы благодаря декабристов за то, что оно получило от них для своего сознания, за те приобретения, какие личная жизнь декабристов и их воспитательное и культурное влияние дали для души сибиряка,— в высшей степени чутко относилось к дальнейшей судьбе неожиданно появившихся среди него сограждан.

В 1837 году наследник престола великий князь Александр Николаевич посетил Сибирь и в г. Кургане, в церкви, видел некоторых декабристов, в том числе и барона Розена. В день отъезда цесаревича из г. Кургана был троицын день, и, по обыкновению, в этот день в четырех верстах от города, на берегу реки Тобола происходило народное гулянье. Туда вечером отправился и барон Розен с детьми, и вот там, среди народа, „знакомые и незнакомые из горожан и поселян" рассказывает Розен, „обступили" его „с

[1]) Сочинения А. С. Пушкина, том XI; Издание Императорской Академии Наук, Петроград, 1814 г.; см. „Примечания" Н. Н. Фирсова, стр. 12.

[2]) Даже сибирские администраторы не чуждались получить что-либо от „дум" декабриста на пользу зачинавшейся культурной работы в Сибири. Так тобольские губернаторы Энгельке и Прокофьев были высокого мнения об упомянутом выше декабристе Свистунове; Прокофьев же привлек его к участию в разработке устава и в обсуждении вопросов об устройстве открывавшейся в Тобольске женской гимназии. (Головачев, Декабристы. 224).

вопросами, выражавшими не простое любопытство, но прямое участие: „Видели ли вы наследника? Что он вам сказал? Обещал ли освободить? Дай Боже вам избавления!“ [1]). Вот что говорили, вот чего желали сибиряки декабристу; здесь мы встречаемся с несомненным сочувствием их ссыльным этого рода. А это коллективное сочувствие — надежный показатель того, что жизнь декабристов в Сибири не пропала даром для сибирского общества, оценившего, при всей своей грубости, их подвиг и здоровым инстинктом своим понявшего, скорее—почувствовавшего, что среди него были поселены истинные друзья народа, борцы за его свободу и счастье.

Относя более подробный обзор истории сибирской жизни в XIX столетии, в особенности в последние три четверти этого века, до третьего выпуска этих „Чтений“, оглянемся назад на изложенное в двух первых выпусках и сведем это изложение к немногим положениям и подчеркнем наиболее существенный общий вывод из изложенного.

Пред нами прошло несколько рядов явлений сибирской истории, приблизительно за два с половиной века.

В последней четверти XVI века произошел первый налет казацких дружин, посланных именитыми промышленными людьми Строгановыми, на сибирский улус царя Кучума, — первая рекогносцировка русских „добрых молодцев“, вольных людей в Западную Сибирь, рекогносцировка, кончившаяся гибелью первого сибирского завоевателя, „всех северных стран запечатальника“, и отступлением русских назад за Камень. В XVII столетии мы видели продолжение этого начатого Ермаком с товарищами движения, — теперь не только в Западную, но и в Восточную Сибирь; причем авангардом этого движения по-прежнему являются ватаги и дружины вольных искателей новых землиц, „землепроходцев“— казаков и служилых людей, разных „бродников“ промысловщиков, а за ними уже шествует и государственная власть Москвы, ревниво относящаяся к приобретенным этими пионерами громадным владениям. В XVII столетии русские постепенно прошли и захватили всю Сибирь — до Великого океана и до границ Китайской империи—и сделали безуспешную попытку приобрести и Поамурье, которое китайцы считали частью своей государственной терри-

[1]) Записки декабриста, С.-Пет. 1907 г., стран. 211.

тории и потому в энергичной борьбе отстояли этот плодородный край от домогательства пришельцев. В XVII столетии, вытекая из фактов завоевания, возникла та завязь общественных отношений в Сибири, которая затем развивалась и в XVIII столетии, да и позднее; установлена была строгая политическая и финансовая зависимость сибирских инородцев от русского правительства, установлен не менее строгий административный режим с предоставлением широкого простора в нем усмотрению высшего сибирского начальства. Тогда же, в XVII столетии, во второй его половине, были заложены основы русской земледельческой колонизации в Сибири путем, главным образом, вольных переселений, как без участия администрации, так и при ближайшем ее участии, в силу предписаний от „великого государя" воеводам—прибирать людей на государеву пашню для довольствия служилых сибирским хлебом; ибо в привозном, коим тогда кормилось русское население в Сибири, бывал большой недостаток. В XVII же столетии при недостатке русских женщин в Сибири, началось скрещивание русских поселенцев с инородками. Главная выгода, которую стремилось извлечь из Сибири русское правительство и общество в XVII столетии, это та, которую давала звероловная добыча в Сибири, как инородцев, так и русских промышленников, но особенно—инородческая добыча ценных сибирских мехов, львиная доля которой поступала московскому царю в виде ясака: тогда, в XVII столетии, на Сибирь смотрели в России главным оброзом, как на звероловную колонию. В XVII веке, с быстрым истреблением ценного зверя, эта сторона русского внимания к Сибири отодвигается на второй план, а на первый выступает забота получше и поскорее воспользоваться минеральными богатствами Сибири. Начинается нащупывание „золотого дна" и развитие горного дела в Сибири, а вместе с тем до громадных размеров увеличивается невольная колонизация посредством ссылки. Колонизацией правительство стремится удовлетворить нужду в людях, в рабочих руках для дальнейшего развития основанных в Сибири рудников и для основания новых; она представляется правительству необходимой также и для развития торговли из Сибири в разные азиатские страны, но преимущественно в Китай. На торговлю начатую в XVII веке, обращается гораздо большее внимание в XVIII, — и чем дальше, тем настойчивее делается это внимание — в первой четверти XIX века уже и со стороны крупных российских и сибирских купцов. Земледельческая, промышленная и горнозаводская колонизация, производимая, несмотря на разные администра-

тивные „реформы“, по существу, а не по форме, при прежних условиях управления Сибирью, больно задевает кровные интересы инородцев, лишавшихся земель и наиболее богатых промыслов, и вызывает отчаянную борьбу туземцев с русскими путем набегов и восстаний; эта борьба продолжалась в течение большей половины XVIII столетия и лишь со значительными усилиями закончилась замирением сибирских инородцев. — Вместе с тем, на почве всех этих явлений вольной и невольной колонизации, на почве означенной борьбы, а также продолжавшегося физиологического слияния русских с инородцами, — постепенно вырастает новое сибирское население, не прежнее русское, но и не прежнее инородческое, а русское—калмыцкой, татарской, бурятской и иных пород, значит, русско-сибирское: создается своеобразный тип сибиряка, забывшего предания, песни и многие обычаи русской земли, забывшего не только русскую, но и начальную сибирскую историю с ее русскими героями, с ее Ермаком и его товарищами... „Сибиряк, говорит один из новейших наблюдателей сибирской народной жизни (Астырев), „забыл свою историю, свое кровное родство с Россией... он уже не имеет никакого понятия об Ермаке, об отношениях своих предков к местным инородцам“... „Легенд и преданий у него, следовательно, нет никаких“, замечает этот автор дальше, „если не считать тех отрывочных сказаний, преимущественно демонического характера, которые он заимствовал от своих соседей-язычников - бурят, да обрывков из священной истории, слышанных им от немногих начетчиков или лиц духовного звания“ [1]). Не зная ни русского эпоса, ни русской песенной лирики, ни русской музыки, сибиряк представляет довольно мрачную и угрюмую фигуру, не менее мрачную и угрюмую, чем его бесконечная тайга и вообще суровые условия сибирской природы, под действием которых слагались иные черты его характера. Но несомненно одним влиянием климата и вообще неприветливых физичесхих условий Сибири нельзя об яснить типический характер сибиряка: этот характер, как и всякий народный характер, создавался под многообразными влияниями, в числе которых природный фактор, конечно, стоит на первом, но едвали на самом главном месте по силе его влияния; главнейшим фактором в создании характера, вероятно, следует считать всю сибирскую историю, коренными из условий которой были кровавая борьба с инородцами, с ее спутником—рабством побежденных, ссылка пре-

[1]) Очерки быта населения Восточной Сибири, Н. Астырева. Русская мысль, 1890 г., сентябрь, 79 стран.

ступников и физиологическое слияние русских с инородцами. Эти-то условия, надо думать, и были решающими в деле формирования психологии русско-сибирского населения, а влияние внешней природы—только содействующим условием в этом биолого-социологичечком процессе.

Христианство, в силу условий общественной и культурной жизни в Сибири и неподготовленности сибирских миссионеров не могло сыграть и не сыграло серьезной роли в истории русско-сибирской культуры. Оно не смягчило страшной эксплуатации инородческого населения Сибири пришельцами и таким образом не предотвратило вымирания и исчезновения сибирских инородцев.

Знаменательную роль, по крайней мере, для верхов сибирского городского общества сыграли декабристы, явившиеся истинными культурными миссионерами в сибирской колонии. Их просвещенным и обладавшим широким кругозором умам было понятно, что Сибирь и сибиряков ожидает великое будущее и что сами сибиряки вполне достойны этого будущего. При отталкивающих сторонах своего характера и быта, сибиряки представляли вольный народ, когда-то знавший кабалу, рабство побежденных, забракованное в законодательном порядке очень рано и потом исчезнувшее в прежних формах, но в массе своей не знавший крепостной неволи [1]); это народ — властитель, который и теперь, в лице промышленников, господствует над инородцами, над их трудом—при помощи капитала, не хуже, чем его предки властвовали при помощи пищали, который много погрешил пред инородцем, хотя и сближался с ним физиологически, но который в то же время чувствует свою мощь, способен на многое и ждет только времени, когда ему, этому народу, „хорошо“, по наблюдению декабриста „справлявшемуся“ с сельскими делами „на мирских сходках“, будет дозволено справляться со своими обще-сибирскими делами в учреждениях с более широкой компетенцией.

Возвращаясь к тому вопросу, которым мы кончили рассмотрение истории Сибири в настоящем выпуске, — к вопросу о декабристах, отметим еще следующее. Барон Розен, раньше своих товарищей покидая Сибирь, вспоминал их „и, благословляя их, благословлял и страну, обещающую“, говорит он, „современем быть не пугалищем, не местом и средством наказания, но вместилищем благоденствия в высшем значении слова“... Он предполагал,

[1]) Исключение представляли заводские крестьяне (особый род крепостного состояния) и единичные случаи обыкновенных крепостных. Сибирский Сборник, С.-Петербург. Крепостничество в Сибири. статья К. Михайлова, стр. 94.

что его товарищам, а также ссыльным полякам после восстания 1830 г. может быть, „суждено быть основателями и устроителями лучшей будущности Сибири, которая, кроме золота и холодного металла и камня, кроме богатства вещественного, представит современем драгоценнейшие сокровища для благоустроенной гражданственности [1]).

На этом и мы пока расстанемся с Сибирью, заметив только в заключение, что барон Розен угадал судьбу сибирской культурной работы его товарищей декабристов: они, в том числе и он сам, заложили в Сибири здоровую культурную традицию, воодушевлявшую к культурно-общественной работе на пользу Сибири многих позднейших деятелей из сибирской интеллигенции, тоже чувствовавших в себе и по мере сил и возможности проводивших в сибирскую жизнь „дум высокое стремленье".

Много надо было иметь душевной бодрости и энергии, чтобы из Сибири вынести ту светлую надежду, выражением которой барон Розен закончил сибирскую часть своих записок. Эта-то энергия ума и сердца и дала возможность людям такого закала оставить в Сибири о себе неизгладимые воспоминания, те самые воспоминания, которые опираются на следующие смелые и гордые, с вызовом будущему, строфы другого декабриста, кн. Одоевского, написанные им в Сибири, в ответ на послание Пушкина „В Сибирь":

„Наш скорбный труд не пропадет:
„Из искры возгорится пламя—
„И православный наш народ
„Сберется под святое знамя.
„Мечи скуем мы из цепей
„И вновь зажжем огонь свободы".

Темная жизнь сибирского общества нуждалась прежде всего в свете; искра, которую заронили подобные люди в эту жизнь, и разгорелась в ней потом в яркое пламя культурно-общественных стремлений лучшей, наиболее сознательной части русских сибиряков.

[1]) Записки, стр. 212—213.

10000.

От автора.

Рукопись второго выпуска, составленного, **как и первый, в 1915 году**, с тех пор пролежала в типографии и была напечатана только ныне (по техническим условиям) **без авторской корректуры**. Вследствие последнего обстоятельства во втором выпуске оказалось немало опечаток. Важнейшие из них, извращающие смысл, я здесь оговариваю.

Важнейшие опечатки:

Стран.:	Строка:	Напечатано:	Следует:
6	11 снизу	1664 г.	1764 г.
10	4 сверху	всего	все
17	18 снизу	выборного элемента	выборный элемент
23	8 сверху	представителе императрицы	прославителе императрицы
28	9 снизу (примечание)	не хищный ценный	не хищный, а ценный
30	1 сверху	XVII	XVIII
31	15 сверху	русскими же китайцами	русскими и китайцами
32	3 сверху	1724 г.	1824 г.
34	После 14 строк снизу	пропущено обозначение главы	V
36	13 снизу	1671 г.	1771 г.
40	6 сверху	Давиера	Девиера
42	3 сверху	10999	10000
51	2 сверху	„огненные бы“	„огненные бои“
54	9 снизу	правовая	кровавая
62	3 снизу	П. А. Мухонов	П. А. Муханов
68	17 снизу	В XVII	В XVIII
69	1 снизу	с ее спутником— рабством	ее спутник— рабство